

ВЕРА КАЛЬМАН
ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ?..



ВЕРА КАЛЬМАН
ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ?..

ЖИЗНЬ
ИМРЕ КАЛЬМАНА

KÁLMÁN VERA
EMLÉKSZEL MÉG ...
KÁLMÁN IMRE ÉLETE



ВЕРА КАЛЬМАН
ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ?..
ЖИЗНЬ ИМРЕ КАЛЬМАНА

ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО



МОСКВА "РАДУГА" 1989

ББК 85.335.43

К17

Предисловие А. И. КОРДУНЕРА

Перевод Т. И. ВОРОНКИНОЙ

Редактор О. А. САХАРОВА

Кальман В.

К 17 "Помнишь ли ты?..": Жизнь Имре Кальмана: Пер. с венг.; Предисл. А. И. Кордунера. — М.: Радуга, 1989. — 176 с.

Вот уже более полувека королем неовенской классической оперетты по справедливости считается выдающийся венгерский композитор Имре Кальман, создатель таких непревзойденных шедевров жанра, как "Королева чардаша" ("Сильва"), "Фиалка Монмартра", "Марица" и др. Творчеству Кальмана посвящен ряд статей и исследований, однако о самом композиторе, о его личной жизни известно очень мало. Этот пробел в какой-то степени восполняют мемуары его жены Веры Кальман, русской по происхождению. Не претендуя на полноту биографического исследования, автор находит удачную форму изложения, позволяющую глубже понять личность этого классика оперетты.

Издание иллюстрировано.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

В книге использованы архивные фотоматериалы.

К $\frac{4703010100 - 235}{030(01) - 89}$ 86 - 89

ББК 85.335.43

Редакция зарубежного литературоведения и искусствоведения

ISBN 963 330 580 2
ISBN 5-05-002423-4

© Перевод на русский язык,
предисловие издательство
"Радуга", 1989

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках шлягер.

Поверьте, это не рекламный зачин, а всего лишь попытка определить жанр книги, способ общения. Возможно, делать этого не следует. Общение с книгой – процесс почти интимный. Посредник нужен здесь не больше, чем зрячему поводырь.

Зачем в таком случае писать предисловие?

Несколько лет назад в одном из наших музыкальных театров мне довелось увидеть спектакль оперетты с лихим названием "Браво, маэстро!". Главными героями в нем оказались... Имре Кальман и Вера Макинская. Чем вдохновлялись авторы, я понял, прочитав эту книгу; очевидно, они прочли ее раньше.

Странный удел великих артистов и художников: обывательское сознание почему-то жаждет отождествить творение с творцом, поставить знак равенства между автором и его героем. Быть может, какую-то роль тут сыграла и литература.

Роман-биография, жанр, пользующийся повышенным спросом, принес, благодаря своим обоим составляющим (и взаимоисключающим) понятиям, столько же пользы, сколько и вреда. Пробуждая интерес к личности художника и к его творчеству, он в значительной степени упрощал, чтобы не сказать – вульгаризировал, и то, и другое. Конечно, создатели жанра, его классики – Цвейг, Тынянов, Моруа, Стоун, Булгаков... – оставили нам замечательные произведения, соединяющие глубокое исследование с беллетристикой. Но эта счастливо найденная форма популяризации довольно быстро стала достоянием литературных ловкачей: она все больше превращалась в бульварное *чтиво*, все дальше уходя от историко-литературной *биографии*.

Вслед за литературой это благодатное "поле" бросились возделывать кино и телевидение, тоже снимая недурной урожай. Причем особенно "везло" композиторам. Стоит вспомнить мифических персонажей фильмов Г. Рошаля о Мусоргском, Г. Александрова о Глинке, И. Таланкина о Чайковском... Правда, они не идут ни в какое сравне-

ние с бесчисленными экранными версиями судьбы Верди, в которых великий маэстро – готовый персонаж лирико-романтической оперы на собственную музыку. А французский телесериал о Жаке Оффенбахе – это просто первосортная оперетта, где "Моцарт Елисейских полей", трагический создатель ликующей музыки, выступает попеременно в амплуа простака и комика-буфф, только что не отплясывающего свои бесовские канкансы.

Но особенная "удача" выпала на долю Иоганна Штрауса. Тут уж впору говорить о целой киноопереточной Штраусиане. Она началась "Большим вальсом" и, боюсь, "Прощанием с Петербургом" отнюдь не закончится.

Так что создатели оперетты о чете Кальман имели, возможно, самые благие намерения, но никакой Америки не открыли, а, скорее, набрали на давно разрабатываемую жилу, где у старателей изначально сложились незыблемые традиции и неписанный свод правил: вместо реальных сложностей судьбы реального художника (а судьба художника всегда сложна и драматична) – расхожие драматургические клише, вместо живого человека – персонаж обывательского мифа... И так до самого конца цепочки неизбежных превращений и подмен: подлинных конфликтов – в эффектные сценические *qui pro quo*, а сложных переплетений драматического и смешного (что, собственно, и есть жизнь) – в мелодраму и фарс.

Возможно, дойдя до этого места, нетерпеливый читатель, не любящий к тому же, как все нормальные люди, отвлекаться на предисловия, поспешно пролистает оставшиеся страницы в полной уверенности, что смысл предупреждения он уже уловил и, если догадка верна, предстоит заманчивая встреча с любимым легким жанром и душкой-героем по имени Кальман под аккомпанемент знакомых с детства и навечно поселившихся в душе упоительных мелодий... Тот, у кого в душе не звучат эти мелодии, просто не возьмет в руки эту книгу.

Подождите! Ваша догадка не верна! Встреча с Кальманом не состоится! Ни с ним, ни с его музыкой. Все сказанное приложимо к совершенно другому действующему лицу. Автор этой книги, этого романа, и есть его главная героиня. Примадонна – она.

Прелестное название "Помнишь ли ты?.." (память услужливо подсказывает: "как счастье нам улыбалось...") с абсолютной полнотой отражает авторские намерения: еще раз пережить минувшие четверть века совместной жизни, годы, полные головокружительных поворотов... Еще раз пройти феерический путь от полуголодной, полунищей "красотки кабаре" до Первой леди "королевства Кальмана", заставив, как это нередко бывало в истории и литературе (и в оперетте, добавим), потесниться всех родовитых аристократок и титулованных особ: графиню Эстерхази, "Графиню Марицу", "Гер-

цогиню из Чикаго”, “Принцессу цирка” и “Королеву чардаша”. И не будь этого прецедента, вряд ли смогла бы через два года супружеского счастья войти на равных в это королевство еще одна Золушка – Уличная певичка с Монматра, повторив тот же сияющий путь “из грязи – в князи”. И судьба ее на удивление схожа с судьбой Веры Макинской, Верушки Кальман, вплоть до прямых сюжетных совпадений: Нинон, Рауль, Виолетта – Агнес Эстерхази, Кальман, Вера; красочный бал художников на Монматре – роскошная премьера в театре “Ан дер Вин”; забытая, всеми покинутая, стынувшая под дождем Виолетта – и забытая, никому не нужная Вера, мокнувшая под венским ливнем, поскольку она так и не смогла выклянчить зонтик у театральной привратницы.

Со страниц книги госпожа Кальман беглой скороговоркой признается в этих совпадениях с опереттой “Фиалка Монматра”, задуманной как бы в ее честь: “...в память о бедной девушке, обуреваемой большими желаниями”.

Нам предстоит проследить путь превращения желаний в свершения.

Впрочем, не этот ли “Светлый путь” от кухарки до члена правительства, от Золушки до принцессы, от безработной статистки до “звезды” – путь, похожий на бег с препятствиями, где на старте честная бедность (или бедная честность), а на финише награда в миллион долларов (крон, рублей...), преодолеют и Сильва Вареску, и Одетта Доримонт, и граф Тасило, и Мистер Икс, и еще многие и многие герои и героини бесчисленных оперетт, музыкальных комедий, мюзиклов, бродвейских и голливудских шоу? Имя им легион. И что характерно, приток новобранцев в этот легион становился особенно многолюдным в самые трудные времена. Они – вечные спутники экономических и социально-политических потрясений. Легенда Монматра хорошо прижилась и прекрасно себя чувствовала и в Вене, и в Москве, и в Старом и Новом Свете.

Поди разберись, чего больше в жизнеописании Веры Кальман – подлинных событий и фактов или неизгладимой памяти о грезах бедной статисточки, у которой так много больших желаний – и никаких, даже маленьких, возможностей.

Или, может, подлинные события и факты так преломились в сознании бывшей девчонки, устремившейся в погоню за призом (или призраком) по имени “удача”, что навсегда потерялась граница между жизнью и грезой, реальностью и мифом?

Боже избави ставить под сомнение истинность и подлинность воспоминаний Веры Кальман! Но угол зрения!.. Впечатление, будто не мемуары читаешь, а “красивый” роман. Не случайно у автора вырвется однажды обезоруживающе откровенная фраза: “Сколько пре-

красных романов написано о любви прославленных людей, — мелькнула у меня мысль. — И как приятно их читать. В действительности же каждая женщина мечтает обзавестись собственным домом и семьей”.

Как видите, предположение о стирании граней между жизнью и мечтой — это чисто мужская наивность. Так что всему свое время и место: “Я взяла “Фауста” Гёте и принялась разучивать роль Маргариты. Но работала без особого воодушевления: мечты у меня были совсем другие”.

Трезвая девушка! Конечно, Маргарита — героиня не ее романа. А кто?

Временами книга начинает напоминать даже не роман, а знаковый образец голливудского стандарта. Или сюжет классической неовенской оперетты. Хотя допускаю, что это издержки моего прагматичного режиссерского мышления. Но, похоже, создатели оперетты “Браво, маэстро!” тоже попались на эту удочку. Очевидно, Вера Кальман предвидела подобное восприятие. А может быть, и рассчитывала на него. Во всяком случае, она не единожды укажет на подобное сходство. В одном месте, рассказывая о конкретной житейской ситуации, она предположит, что, “наблюдай эту сцену друзья Кальмана — Ференц Легар или Оскар Штраус, — они наверняка воспользовались бы ею в качестве сюжета или хотя бы вставного эпизода для оперетты”, но дальше непременно заключит: “Однако я чувствовала себя отнюдь не как опереточный персонаж”.

В другом месте она приведет слова, принадлежащие влюбленной героине из “Принцессы цирка”, и скажет, что их вполне можно было бы отнести к ней, а потом снова как рефрен: “...хотя я вовсе не ощущала себя опереточной героиней”.

Что ж! Значит, наши ощущения не совпадают.

При том, что Вера Кальман написала книгу подкупающе искреннюю, откровенную, без тени позы или желания себя приукрасить — для женщины это, наверное, акт незаурядного мужества, — она, при всей своей трезвости, практичности и несентиментальности, ощущала себя именно героиней и именно оперетты. И трудно было ожидать чего-то иного, если помнить, что Вера Кальман двадцать пять лет прожила с Богом музыки, сотворившим свой особый музыкальный мир. Могла ли она, приобщившись Бога, Императора (так называли Кальмана), в свои неполные семнадцать лет не ощутить себя обительницей этого блистающего мира и удержаться от искушения примерить один из его роскошных костюмов? А девушке в семнадцать лет какое платье не пристанет? Оно и пристало. Да так накрепко, что стало кожей, а не платьем.

Однако чувствовать себя обительницей этого мира или быть

погруженной в него – не одно и то же. Широко и непринужденно пользуясь всеми его благами, Верушка, судя по всему, чувствовала себя в нем достаточно чужой. Мир Кальмана во многом остался для нее загадкой. Она и не стремилась ее разгадать. Возможно, причиной тому была слишком большая разница в возрасте (ей семнадцать, ему – под пятьдесят), возможно, нечто иное.

Этот мир остался бы загадкой и для нас, если бы не мемуары самого Кальмана и, что самое главное, если бы не его обворожительная музыка, столь понятная и близкая нашему эмоциональному складу и нашему мировосприятию, что в России она оказалась более жизнестойкой и чувствует себя больше дома, чем на собственной родине.

* * *

Феномен непреходящего воздействия этой музыки, ее властной заразительности занимает умы ровно столько времени, сколько она сама существует. Так что впору говорить действительно о загадке Кальмана. Кстати, прошедший сравнительно недавно советско-венгерский фильм так и назывался – "Загадка Кальмана". Он не избежал участи других, уже упомянутых фильмов о композиторах и еще больше смахивает на оперетту. Может, именно потому, что в его сценарной основе те же воспоминания Веры Кальман. Плюс музыка и сцены из оперетт. Понятно, что к разгадке нас он не приблизил. Однако серьезный, тонкий прозаик Юрий Нагибин – один из авторов сценария, – для которого, по его собственному признанию, Кальман "не просто важен, а важнее многого другого, да и не для меня одного"¹, может быть, ближе других подошел к одной из возможных разгадок феномена Кальмана, а заодно и этих мемуаров, написав уже после фильма книгу "Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана".

Книга эта не более чем беллетризованная реминисценция на тему беллетризованных воспоминаний Веры Кальман. Во всяком случае, в той части, что посвящена непосредственно Вере. Но, изложенные другим рассказчиком, увиденные под другим углом зрения, те же действующие лица и те же события приобретают совершенно иную смысловую подоплеку, иную психологическую мотивацию. И мы с каким-то запаздывающим пониманием, приходящим уже после прочтения, начинаем осмысливать роль Веры – жены, спутницы, матери троих детей – в жизни и судьбе Имре Кальмана – мужа, отца, просто человека. Блестящей жизни, если речь идет лишь о композиторе, если видеть и помнить только нескончаемую череду триумфов, мировую славу, огни рампы, искрящееся в хрустале шампанское, сияющие лаком бока "кадиллаков", миллионное состояние... Если видеть

¹ Нагибин Ю. Музыканты. М., Современник, 1986, с. 234.

ослепительную Верушку, ее "девичье лицо такой светлой и радостной красоты, что вторично будет явлена человечеству спустя годы и годы в образе юной Мэрилин Монро. То же золото волос, синь глаз, кипень зубов в большой легкой улыбке, та же нежнейшая кожа, совершенная линия шеи и плеч... Длинные ноги, осиная талия, долгое юное тело..."¹.

...И жизни горестной, если вспомнить, что ослепительный, гармоничный и радостный музыкальный мир создавал одинокий труженик, не умеющий веселиться и развлекаться, прозванный угрюмым медведем, человек "с легкой рукой и тяжелым сердцем" – неуверенный, до смешного суеверный, отчаянный меланхолик и пессимист... Если понять бесконечное одиночество творца, боготворившего блестящую Верушку в манто из платиновой норки, заботливую, практичную, живущую так обнадеживающе близко и так безнадежно далеко: "Между Шиофоком на берегу Балатона, где родился я, и уральской Пермью, где родилась ты, пролегла целая пропасть. Образ мыслей у каждого из нас разный". Кальман создавал мир оперетты. Вера в этом мире жила и ощущала себя его героиней. Но самое поразительное, что суть этого мира, его плоть и кровь – музыку! – она почти не слышала. А уж чужая музыка и вовсе отторгалась.

Кальман, оказывается, с искренним восхищением относился к музыкальному новаторству, в особенности к мастерам джаза: в его доме бывали Джордж Гершвин, Кол Портер, Пол Уайтмен.

Кальман, оказывается, встречался в Будапеште с Клодом Дебюсси в пору, когда тот открыл для себя венгерскую народную музыку, влюбился в нее и, как пишет Нагибин, заклинал шире пользоваться ею. Не копировать, а попробовать передать ее свободу, скорбь, ритм и дар заклинания.

Кальман был дружен с Бартоком, Кодаем, Легаром, Оскаром Штраусом, Якоби. Он преклонялся перед Шуманом, почитал, как все венгры, Листа, но боготворил Чайковского... Интересно, не правда ли?

Короче, он жил со временем и во времени, не отъединенный от всех его процессов – общественных, политических, культурных. А в Австро-Венгрии это были непростые процессы. Для Венгрии – отстоять себя, свое национальное самосознание, для Австрии – полностью освободиться от могущественного итальянского влияния.

Кто же, как не живой свидетель, близкий друг, мог бы ввести нас в мастерскую музыканта и помочь понять сложнейшие взаимосвязи художника с его временем?

Ан нет! С восхитительным простодушием Вера Кальман признается, что для понимания глубокой музыки ее нужно слушать чаще и

¹ Там же.

больше, а ей "поистине претила музыка такого типа, которую любил Имре". Такова реакция на Гершвина, на его "Рапсодию в блюзовых тонах".

Что до Пола Уайтмена, то про него мы узнаем лишь то, что курица по-венски, отведавшая впервые в доме Кальманов, стала его любимым блюдом.

Непонимание и одиночество – удел любого настоящего художника. Гения – тем более. Лауры и Беатриче всех времен и народов были не только музами-вдохновительницами. Любовь для гения – это, наверное, еще и призрачная и безумная надежда обрести понимание, отклик. Отчаянная попытка снять с себя проклятье неизбежного одиночества.

Чем внимательнее читаешь мемуары, тем отчетливее ощущение, что для Кальмана эта попытка закончилась полным крахом. Старый, тяжело и много болеющий, практически утерявший подвижность, он уходил из жизни, коротая последние дни в обществе преданной до обожания сиделки, старой девы Ирмгард Шпис. У Верушки в это время было забот по горло: благотворительные базары с танцами (очень она танцевать любила, что поделаешь!), светские рауты, вечера. Ну и конечно, дела фирмы Кальман – реклама, пресса, интервью.

Госпожа Кальман почти не скрывает этого. Не считает нужным. Увы, и это смахивает на знакомые сюжеты.

Грустно.

Не здесь ли таится одна из разгадок того, что, кроме "Фиалки Монмартра", все свои шедевры Кальман создал в другой период жизни, во времена, так сказать, "доВерия", где полноправной хозяйкой или, скорее, ангелом-хранителем была другая женщина – мудрая, деликатная, нежная и в то же время твердая – прекрасная Паула Дворжак, ушедшая, к несчастью, так рано.

Спору нет, фашизм, аншлюс Австрии, бегство в Цюрих, в Париж, а потом за океан, чужой быт и нравы, чужая культура – все это не могло не сказаться на творческом самочувствии. Но все же, все же, все же...

Спасаясь от одиночества, от непонимания в окружающем мире, художники бегут в свой, творимый ими художественный мир. Видимо, Кальман очень любил Веру, Верушку, если этот побег не удался. Собственное пятидесятилетие – благодатнейший возраст творца, пик, акме, время наивысшего расцвета всех духовных сил – он отметил премьерой "Дьявольского наездника"... И все!

Прожив еще более двадцати лет, он сочинил лишь три оперетты: "Императрица Жозефина" (1936), спустя девять (!) лет – "Маринка" и еще через десятилетие – "Аризонская леди".

Вам что-нибудь говорят эти названия?.. И мне, режиссеру, не больше.

При том, что театр оперетты, пользуясь термином зоологов, вообще эндемик – вымирающий вид – и искру жизни в нем в первую очередь поддерживают мелодии Штрауса, Легара, Кальмана, произведения этого последнего, "семейного" периода исчезли из репертуара бесследно. Лишь музыка "Дьявольского наездника" продолжает звучать с подмостков некоторых наших театров, и то не как драматургически целостная партитура, а в виде отдельных номеров, использованных в чудовищной по вульгарности и пошлости стряпне под названием "Последний чардаш" – продукте производства наших, отечественных авторов, посчитавших, однако, нелишним спрятаться за могучую спину Кальмана¹.

Нет, видно, через последние произведения нам не приблизиться к пониманию личностного мира Кальмана. Равно как и через мемуары его жены. Попытаемся сделать это с помощью вершинных созданий маэстро, потому что каждое из них – несомненное свидетельство какого-то сильного душевного движения. В каждом из них использована "энергия прибоя", эмоциональной приливной волны. Разумеется, способ этот не нов и крайне субъективен, поскольку любая интерпретация являет в первую очередь личность интерпретатора, а не интерпретируемого. Потому-то и существуют у каждого из нас свои Пушкин и Шекспир, Рубенс и Репин, свой Бах, свой Чайковский. Свой Кальман. Но другого, более надежного способа пока не придумали.

Пропустим первый опус 1908 года – "Осенние маневры" (в первом варианте – "Татарское нашествие"). Пропустим не потому, что он не заслуживает внимания, – ведь это был первый безоговорочный успех, особенно заметный после венской премьеры 1909 года. Да еще в театре "Ан дер Вин", ставшем с тех пор любимым театром, который мы с таким же правом можем называть "Домом Кальмана", с каким называем "Комеди Франсез" "Домом Мольера", а Мальтий театр – "Домом Островского"².

Скажу даже больше, это было первое произведение, заявившее основополагающие принципы кальмановского театра – неовенской оперетты: психологическая разработка сюжета, приведшая впоследствии к открытой драматизации; создание четких драматургических форм и приемов, один из которых станет излюбленным и отождествится в

¹ Тех, кого заинтересуют подробности данного вопроса, отсылаю к моей статье "Безответные вопросы ответственным лицам" в журнале "Театральная жизнь", 1988, № 13. – *Здесь и далее прим. автора.*

² Летом 1988 года в Москву впервые приехал на гастроли легендарный "Ан дер Вин". Однако привез он мюзикл "Кошки" Уэббера. Кальмана показал другой венский театр – "Фольксопера". Он представил интереснейшую "Королеву чардаша". Подробно об этом см.: Гаевский В. Австрийский триптих. – "Театр", 1984, №2.

виде знаменитых кальмановских финалов – шедевров музыкальной драматургии; яркость, нарядность, праздничность, удивительная щедрость и широта мелодий; органическая связь романтического лиризма в ариях и любовных дуэтах с хлесткой характеристичностью в куплетах, помнящих свое родство с кабарежными песенками. И, наконец, обжигающий, как паприка, неукротимый цыгано-венгерский чардаш, навсегда поселивший "частицу черта в нас".

И все-таки оставим в стороне этот неожиданно эффектный, темпераментный, полный почти нахальной музыкальной дерзости первый опереточный опыт – "пропуск" в царство Ференца Легара, Лео Фалля, Оскара Штрауса. Оставим, потому что прелестные "Осенние маневры" были вынужденным, чтобы не сказать – отчаянным, шагом. Почти актом протеста молодого, талантливого, но безмянного композитора, не сумевшего пробиться в мир высокой, серьезной музыки, отвергнутого всеми мюнхенскими издателями. А ведь сам великий дирижер Артур Никиш весьма лестно отзывался о его сочинениях. Вот тогда разъяренный автор "Сатурналий", "Эндре и Иоганны" и других симфонических и сонатных опусов решился на безумный шаг, "унизился до шлягера" и сочинил оперетту. И в этой добровольной неволе обрел навечно свободу и легкость дыхания. Но это обретение себя, первое осознание своего истинного призвания было всего лишь первым шагом в полном самовыражении. А ведь мы и хотим приблизиться к разгадке Кальмана.

Итак, начнем с 1912 года. В тот год родился "Цыган-премьер".

Вам, вероятно, знакома история старого скрипача-цыгана, короля ресторанных подмостков, и его сына Лачи, тоже скрипача, но с консерваторским образованием. История их соперничества в музыке и любви. Но в данном случае интересна не сама история, а те побудители, что привели к музыкальному воплощению именно такого сюжета.

Кальману в ту пору всего тридцать (или уже тридцать?) лет. Он полон сил и творческих идей. Рядом с ним замечательная женщина, Паула, надежная и мужественная. Счастлив ли он, если позволительно задавать такой вопрос художнику, а особенно Кальману? Он, судя по всему, просто не умел быть счастливым и, подобно многим профессиональным забавникам, острякам, оптимистам, в жизни был занудой, ипохондриком, мрачной личностью, да еще до смешного суеверной.

Ну, если не счастлив, то, во всяком случае, благополучен, хотя предыдущая оперетта – "Отпускник" (или "Хороший товарищ" в венском варианте) – лавров ему не прибавила.

Так чем привлекает его довольно грустная для оперетты история кабацкого музыканта, стареющего романтика с необузданным темпераментом, стихийного импровизатора, отвергающего алгебру в гармонии, не желающего сдаваться ни в жизни, ни в музыке, ни в любви?

Вопреки упорному стремлению либреттистов присудить победу сыну, симпатии композитора явно на стороне отца: ему отдал он пронзительную по искренности, почти исповедальную по лирической глубине и открытому драматизму музыку. Да вспомните хотя бы знаменитую арию "Был скрипач Пали Рач – и нет его!". Или замечательный вальс – "Мой старый Страдивари..."¹.

Это, конечно, не больше чем догадка, но, похоже, две мысли, два чувства и побуждения будоражат воображение Кальмана и толкают под руку. С одной стороны, изживается ущемленное самолюбие композитора, всю жизнь помнящего, что он отвергнут миром серьезной музыки. Вершится маленький акт возмездия, когда в финальном поединке между отцом и сыном, между спонтанным музицированием и строгим музыкальным академизмом, мы, следуя эмоциональной логике и заразительности автора, оказываемся на стороне развенчанного кумира. Отвергнутый подхватывает поверженного и таким образом удовлетворяет жажду справедливости.

С другой стороны, широта и раскованность мелодических излияний, их абсолютная, ничем не стесненная органичность и поразительная легкость музыки, уравнивающая его в правах с величайшими музыкантами, да и собственное признание в том, что хотелось в новой оперетте отойти от излюбленного танцевального жанра, "предпочитая помузицировать от чистого сердца"², – все это говорит не только о том, что Кальман осознал свое истинное призвание, но, главное, он полностью ему доверился.

Выбор сделан! Судьба определилась.

Спустя год он скажет, что полстраницы партитуры Листа перевесят все его как написанные, так и будущие оперетты, и в этом высказывании нетрудно услышать долгое эхо так и не утихшей душевной бури... Он скажет, что большие композиторы всегда будут иметь своих почитателей и ценителей, но параллельно с ними должны существовать и театральные композиторы, которые не пренебрегают легкой, жизнерадостной и остроумной, нарядно приодетой музыкальной комедией.

Похоже на творческое кредо. Как же оно будет утверждаться дальше?

¹Мне кажется, здесь робко заявлена тема, которая позднее так мощно прозвучит у Гауптмана в пьесе "Перед заходом солнца", у Маркеса в "Осени патриарха", у Бабеля в "Закате", у Отга Иоселиани в дилогии об Агабо. Вечная тема помянутого еще Пушкиным печального заката, освещенного любви "улыбкою прощальной".

Смело? Возможно... Но мы не вольны в ассоциациях. Значит, это всего лишь еще одно доказательство крайней субъективности любых трактовок.

²Цит. по кн.: Михеева Л., Орелович А. В мире оперетты. Л., Сов. композитор, 1977, с. 129.

А дальше была "Сильва", она же "Королева чардаша". И первая мировая война.

В этом почти шокирующем соседстве "пира" и "чумы" было бы пошло и безнравственно искать прямые причинно-следственные связи. Но если изолировать художника от его времени, а произведение – от времени написания, мы вряд ли сумеем понять корни замысла, и, значит, нам уготована участь потребителей на этом пиршестве звуков и красок. Удел обжор, дорвавшихся до лакомства и с набитыми ртами восхищенно обменивающихся нечленораздельными звуками.

Крутой замес чистой лирики – и старомодной сентиментальности, нежности, романтики – и ядовитой ухмылки, бравурности, ликующего жизнелюбия, праздничности – и элегической грусти, виртуозного драматургического расчета – и непредсказуемой прихотливости эмоциональных капризничю... Все, что образовало "Сильву" и магию ее непреходящего воздействия, для нас останется миром непознанных и неиспользованных возможностей. Знакомые попевки – вот и вся радость.

Война как драматургическое событие не присутствует в оперетте Кальмана. Не она водила пером композитора в то печально известное лето в Мариенбаде, в августе 14-го. Она еще даже не грянула, когда Кальман и его либреттисты Лео Штайн и Бела Йенбах сбежали из беспокойной Вены в эту вовсе не идиллическую горную деревушку – европейскую Мекку для ожиревших сердечников и желудочников. Какая война, когда задумана оперетта под названием "Да здравствует любовь!" (таково было предположительное название будущей "Королевы чардаша"). Но этот воздух Мариенбада, воздух суетливой и вздорной жизни модного курорта, где Балканы, Сербия, Австрия, Габсбурги, британский и немецкий флоты – война, короче – стали излюбленной темой досужих общих разговоров при общем неверии в нее... Этот воздух ошалевшего от неуверенности или оглохшего от самоуверенности предвоенного мира оказался воздухом самой оперетты. И преуспевающий респектабельный буржуа, сохранявший олимпийское спокойствие, если не равнодушие, к судьбам Австрийской монархии, знаменитый композитор Кальман, не забывающий даже в минуты триумфа быстро подсчитывать будущие доходы на крахмальных манжетах, дышал тем же предгрозовым воздухом. В противном случае феноменальная способность этого сумрачного, тяжелого человека превращать житейские тяготы в легкую музыку, переплавлять личные горести, даже скорбь – в непередаваемую бодрость, выжать пьянящий сок веселья из собственной меланхолии оказалась бы парализованной¹.

¹ Существует версия, что свою бессмертную тему "Красотки, красотки кабаре...", где бурный каскад вдруг приобретает терпкий горьковатый привкус, Кальман буквально исторг как вопль потрясения в минуты, когда скорбел о кончине старшего брата.

Детище Кальмана оказалось и детищем эпохи. Оперетта, начатая в августе 1914-го, впервые была сыграна в ноябре 1915-го, когда мировой пожар полыхал уже вовсю, и его зловещие сполохи навсегда легли багровым отсветом на блестящие одежды "Королевы чардаша". Воздух предвоенного мира стал воздухом мировой войны. Им дышат и им захлебываются герои оперетты, в основном мужчины – "те самые, из "общества", которые к этому времени либо были убиты на войне, либо, лишившись всякой опоры в жизни, стремились удержаться в ней хоть как-нибудь¹". Нам же, с высоты нашего нынешнего знания, они напоминают героев "потерянного поколения" Хемингуэя, Дос Пассоса, Ремарка.

Этот воздух окутывает оперетту неуловимо тревожным флёрком. Он присутствует как второй, третий планы, иногда – как предлагаемые обстоятельства, существующие за рамками сюжета, но влияющие на него.

Этот воздух сродни живописному приему, найденному Леонардо да Винчи, – "сфумато" – нежной, неуловимо зыбкой живописной дымке, окутывающей натуру и позволяющей моделировать ее без помощи светотени. И не уловить присутствие этого воздуха, этой дымки или хотя бы не поверить в ее присутствие – значит пройти мимо чего-то самого существенного в этой самой прославленной оперетте. Это значит поддаться дурной сценической традиции, и теперь здравствующей на наших подмостках, благодаря которой в умах многих "Сильва" утвердилась как символ обывательской ограниченности, тощий эстетический рацион массового употребления, нечто среднее между сентиментальным романсом и балаганным антре.

Пусть эти "умы" попробуют объяснить тогда, почему небывалая война, окутавшая Европу смрадным ипритным дыханием, расколовшая ее на два лагеря, не сумела удержать триумфальное шествие "Королевы чардаша"? Поистине с царственной небрежностью шагала она через границы, демаркационные линии, проволочные заграждения, через вражду, предупреждения, страдания, кровь.

В Россию оперетту завезли пленные австрийцы, разыгрывая ее в своих лагерях. Как она попала к французам и их союзникам, можно лишь гадать. Но факт, что и немцы, и французы, обстреливая позиции друг друга, каждый артиллерийский залп сопровождали пением мелодий из "Сильвы".

Пусть попробуют объяснить скептики и снобы, почему в задыхающемся блокадном Ленинграде практически единственным постоянно действующим театром был Театр музыкальной комедии и почему синие от холода, опухшие от голода артисты давали для таких же

¹Цит. буклет, выпущенный к гастролям венской "Фольксоперы".

окоченевших и оголодавших зрителей именно "Сильву"? Почему как свидетельство нестигаемой воли осажденного города сбрасывались немецким гарнизонам листовки с крупно набранным сообщением о премьерe, с фотографиями переполненного театрального зала, сцен из спектакля, смеющихся лиц женщин, детей, солдат, матросов?¹

Почему, наконец, в 1944 году, уже пронизанном предощущением близкой победы, Свердловская киностудия выпускает на экраны все ту же неуываемую "Сильву" и фильм этот идет повсеместно при переполненных залах, а блистательный Сергей Мартинсон — Бони со своим знаменитым "Ты на меня не сердись? Съешь конфетку!" становится кумиром мальчишек наравне с бесстрашным разведчиком Зигмундом Колосовским, отважным летчиком майором Булочкиным и другими киногероями тех незабываемых военных лент.

И наконец, если правда, что оперетта вообще, а "Сильва" в частности ни на что не претендующий легкомысленный "завиток" культуры, безобидная игрушка вне времени и пространства, что автор ничего не имел в виду и ничего не вкладывал в свое создание, кроме стихийного дара мелодиста и трезвого расчета поднаторевшего коммерсанта от музыки, "работающего на кассу", то почему, несмотря на сногшибательный успех премьеры, была предпринята попытка устроить obstruction? Почему пресса обрушила на автора целый шквал взаимоисключающих обвинений? То его третировали за возмутительное отношение к титулованной знати, за осмеяние высшего общества монархии, то вдруг называли певцом аристократии. То поносили за поругание офицерской чести, за оскорбление армии, то обзывали милитаристом, поскольку он служит "и нашим, и вашим": оперетту с одинаковым энтузиазмом распевали по обе стороны линии фронта. А то "певец аристократии" превращался в господина, заискивающего перед простонародьем.

Чем же так "достал" он всех этих господ? Что они высмотрели в "безобидном" сочинении?

Впрочем, не стоит ждать ответов на все поставленные вопросы. Для тех, кто с почтением и любовью относится к Кальману — а значит, и к театру оперетты, — они бессмысленны: эта любовь, как и всякая другая, не нуждается ни в чем, кроме самого предмета. Вот единственный аргумент, он же и факт. Те же, для кого этот театр — обочина культуры, задворки искусства, пропустят книгу Веры Кальман.

Мы же последуем дальше, уважаемый читатель, уповая на старую истину: о ком бы и о чем ни поведал миру художник, он так или иначе говорит о себе.

¹ Это свидетельство одного из участников акции, Юрия Нагибина, в то время лейтенанта Отдела контрпропаганды Политуправления фронта.

Вспоминая лучшие оперетты Кальмана, невольно обращаешь внимание на одну общую для них особенность, почти закономерность: за редким исключением, любимые герои – сплошь все артисты. Их мир – мир искусств, среда обитания – сцена, студия, эстрада, арена.

Вспомните!

Пали Рач и Лачи – музыканты.

Одетта Доримонт – певица и танцовщица.

Сильва Вареску – артистка кабаре.

Мистер Икс – артист цирка.

А в "Фиалке Монмартра" вообще нет ни одного персонажа, так или иначе не связанного с искусством: артисты, художники, композитор, поэт, бывшие актеры, уличные музыканты. И даже министр – министр изящных искусств.

Говорить о простом совпадении уже не приходится. Больше похоже на главную тему. И конфликт во всех этих опереттах практически один и тот же. Каждый из героев преодолевает сословные преграды, социальное неравенство. Для каждого из них борьба за свое счастье превращается в борьбу за человеческое достоинство, за честь артиста или за честь женщины. У каждого свои счеты с аристократией. Вроде бы тема давно исчерпана, и тем не менее жребий (и воля драматурга) продолжает упорно сталкивать великосветский мир с миром кулис, корысть брачных сделок – с бескорыстием любовных союзов, "благородство" родовитой касты – с благородством артистического братства. Правда, это разнообразное противоборство непременно приведет к обязательному для всех благополучному завершению, где все условные преграды сняты и празднуют победу безусловные человеческие чувства – преданность, дружба, любовь. Но на пути к этому каноническому хеппи-энду герои должны молчать, скрываться и таить и чувства, и мечты свои и вообще выдавать себя не за тех, кем являются на самом деле.

Племянник графа Палинского вынужден скрывать свое аристократическое происхождение и стать цирковым артистом – Мистером Икс. А Мистер Икс в свою очередь вынужден выдавать себя в светских салонах за мифического графа Казарова¹.

Одетта Доримонт должна притворяться, что не любит принца Раджами, а лишь подшутила над ним, как злая кокетка.

Сильва выдает себя за жену Бони, графиню Конислау, а мать Эдвина, княгиня Воляпюк, всю жизнь должна скрывать свое прошлое певички из кабаре "Орфеум".

¹Приведены имена подлинного либретто. В русских вариантах они изменены.

Скромная Виолетта, Фиалочка, мужественно скрывает свою любовь к Раулю...

Какое-то бесконечное карнавальное травестирирование, вселенский маскарад, в котором не разберешь, где суть, где видимость, где лицо, где маска. И только музыка не позволяет нам окончательно запутаться в этой карнавальной сумятице и неразберихе. Она расставляет опознавательные знаки лейтмотивов и музыкальных характеристик, протягивает нити интонационных связей и приводит нас к лирическим откровениям арий и дуэтов и к потрясающим финалам, где все маски сброшены, где понятно, кто есть кто, где торжествует неприкрытая истина страстей.

При том, что либреттисты не баловали Кальмана разнообразием, подобную конфликтность принято было относить к обязательным условиям жанра. Что касается маскарада чувств, проблемы сути и видимости, маски и души, то эта одна из самых живучих европейских театральных традиций стала фундаментальным свойством вообще музыкального театра, объясняющим драматургическую необходимость связи слова и музыки, драматического и музыкального действий, их неразрывность и противосложение.

И все-таки не эти сугубо профессиональные проблемы волнуют Кальмана. За всеми хитросплетениями сюжета и каверзами интриги, за всеми условностями легкого жанра в музыке звучит такое неподдельное волнение, такая эмоциональная насыщенность и подробность психологических нюансов, она несет такое бремя страстей человеческих, что впору говорить уже о музыкальной психологической драме.

Что же заставляет Кальмана с такой упорной последовательностью возвращаться к одному и тому же конфликту: аристократы – артисты? Казалось бы, в реальной жизни ему нет уже места. Агнес Эстерхази, представительница одной из самых древних фамилий, графиня, могла бы снять проблему двумя убойными аргументами: графиня Эстерхази – звезда кино, это раз! И любовница Кальмана – это два! Вот вам и все противостояние.

Прежде чем попытаться ответить на поставленный вопрос, сделаем шаг в сторону, вернее, назад. Зайдем, так сказать, с тыла и вспомним отца Кальмана.

Этот удачливый торговец зерном, осмотрительный, хваткий и прижимистый делец умудрился сколотить весьма солидное по меркам Шииофока состояние и разорился в одночасье. Он возмечтал превратить свой маленький городок на берегу Балатона в первоклассный европейский курорт, для чего и создал акционерное общество. Превосходная мысль, делающая честь бескорыстным патриотическим чувствам и дару коммерческого предвидения. Шииофок действительно стал модным курортом. Но в то время, как остальные акционеры

пожинали плоды расцвета, торговец Кальман вкладывал деньги в его обеспечение – и вылетел в трубу. Он пал жертвой прекрасной поэтической идеи, порожденной излишне пылкой для делового человека любовью к родному городу. Поэзия и коммерция оказались столь же несовместны, как гений и злодейство.

Вероятно, сын унаследовал и явные достоинства отца, и тайные "пороки", превзойдя его и в том, и в другом. Он был куда более удачливым коммерсантом и по сути, и по видимости. А поэтические струны, тайно звучащие в душе отца, у сына запели в полный голос, обретая мощь откровенного и нестесненного художественного проявления. Но!

Едва эта художественная сила получала материальное выражение в виде немалых доходов, едва музыка становилась товаром, подверженным рыночной конъюнктуре, художник безмолвно ретировался и бал правил делец.

Эта двойственность преследовала Кальмана всю жизнь и продолжалась до тех пор, пока коммерсант не набрал такую силу и независимость, что художник был уже не нужен.

И художника не стало.

Осталась тоска по нему.

Тоска откормленного домашнего гуся, которому ночами снятся вольные полеты. Он судорожно взмахивает крыльями спросонья и громко кричит.

Если признать, что в основе любого искусства помимо стремления к идеалу, к гармонии лежит еще и тоска по несбывшемуся, по неиспользованным и утраченным за ненадобностью возможностям, то лучшие создания Кальмана – это его полеты во сне. И наяву. В них творец торжествует победу над дельцом и низменный расчет уступает высокой нерасчетливости душевного порыва.

Первое воплощает аристократия, второе – артисты.

Примирение возможно?

Возможно...

Упомянутая Агнес Эстерхази, графиня и актриса, послужила прототипом сразу двум, абсолютно несхожим героиням – графине Марице и актрисе Нинон. Взбалмошная, капризная, обворожительная Марица отвергает предрассудки своего клана и следует зову любви; взбалмошная, обворожительная... и так далее Нинон в "Фиалке" следует другому зову – и предает любовь.

Нет, не только специфика жанра требует непременно примирения антагонистов и обязательной счастливой развязки. Коммерсант не дремлет: полеты полетами, но где-то сядешь!..

Тем не менее все грандиозные кальмановские финалы приходятся на самые драматические кульминации первого и второго ак-

тов. На долю третьего акта, на счастливую развязку остается лишь повторение какой-нибудь шлягерной темы, заключительная виньетка. Там, где полное благополучие, музыке делать нечего.

Кальман спел гимн Божеме, ее романтическому рубищу, таланту и щедрой сердечности, ее порывам и идеалам, вечному духу независимости и бунтарства.

Он спел гимн Артисту, волшебной стихии безрассудства— и навсегда оправдал себя в собственных глазах.

И в наших тоже.

Зачем же писать предисловие?

Для Веры Кальман жизнь и творчество ее супруга послужили поводом, чтобы рассказать о собственной жизни. Я благодарен ей за то, что рассказ этот обернулся поводом для размышлений о композиторе Имре Кальмане. Для того чтобы еще раз хотя бы внутренним слухом услышать его непостижимо заразительную музыку и с изумлением обнаружить, что и сейчас, как и раньше, как почти уже столетие она заставляет с остротой и свежестью первооткрытия ощутить полнокровность бытия и всемогущие токи жизни.

Кто знает! Может быть, в этом неожиданном и радостном ощущении заключен непредсказуемый эффект книги "Помнишь ли ты?..", ее достоинство и главная удача.

Анатолий Кордунер

Конечно же, компания была для меня неподходящая, я и сама это понимала. Но что было делать? В тот жестокий 1928 год каждый искал удачи, где только мог. Денег было полным-полно, однако не всегда они водились именно у тех, кому оказывались нужнее всего. Так и в Вене: одни обладали несметными богатствами, а у других в кармане не было ни гроша. Я принадлежала к числу последних.

Вот и пришлось мне пополнить ряды девушек, ищущих удачи. Все мы — актрисы, цирковые акробатки, танцовщицы в баре, "красотки кабаре" — жили в одном пансионе. И готовы были ухватиться за любую работу на любых подмостках: пойти в хористки, подрядиться статистками, иные не пренебрегали и увеселением клиентов в баре. Мне удалось закрепиться на самой нижней ступеньке лестницы, ведущей к успеху. В моем стареньком, потрепанном ридикюле лежал всамделишный контракт — с кинокомпанией "Саша". Я уже успела сыграть роль в "Королевской охоте" — в первый и последний раз. Контракт сулил плату в размере 1500 шиллингов и был скреплен собственноручной подписью директора компании графа Коловрата. К сожалению, графская подпись гроша ломаного не стоила, так как компании грозило банкротство. Какая уж тут выплата актерам, когда дирекции самой впору было встать с протянутой рукой.

Наш пансион "Централь" находился на углу Кернтнерштрассе и Йоганнесгассе. Моя комната, зажата между лифтом и единственной на весь коридор уборной, помещалась на пятом этаже. Занавесок на окне не было, с потолка свисала голая лампочка. О платяном шкафе и помышлять не приходилось, его заменяла ниша в стене, где на нескольких гвоздях умещался весь мой скудный гардероб. Воду для мытья мы в жестяном тазу приносили из коридора.

Подолгу простаивала я у окна, вглядываясь сквозь дребезжащее стекло в грязную, мрачную пропасть двора. Иногда мы стояли так на пару с Ниной, моей подружкой.

— Знаешь что, — сказала я ей однажды, — мне из этой норы одна дорога: во дворец. Либо уж из окна головой вниз.

Нина ответила на мои слова смехом. Сама-то она родилась и жила в одном из дворцовых особняков Будапешта, ее отец — венгерский граф — по-прежнему обитал в своих хоромаш. Мать Нины развелась с отцом, а Нина сбежала от матери.

— Собирайся и пошли, — скомандовала мне Нина в один прекрасный день раннею весной 1928 года. — Биржа открылась, так что не заставляй банкиров ждать.

”Биржей” мы называли небольшое кафе ”Захер” на Кернтнерштрассе. Вчетвером, на пару или поодиночке сидели там молодые актрисы, танцовщицы и просто искательницы приключений, стараясь занять места с таким расчетом, чтобы их хорошо было видно со стороны грандиозного стола, предназначенного для музыкально-художественной элиты. У стола суетился почтенный обер-кельнер в допотопном фраке с высоким стоячим воротником и пожелтелыми от старости манжетами. Осанкой и манерами он смахивал на генерал-фельдмаршала, взамен штабной карты вооруженного массивным бумажником. В раскрытом виде бумажник выглядел точь-в-точь как гармоника, а музыкой — по крайней мере для ушей обер-кельнера — служил шелест банкнот.

После обеда мы каждый божий день просиживали в этом кафе. Поначалу я, не желая очутиться за одним столиком с девицами определенного пошиба, бывала там со своей матерью. Однако вскоре мать вышла замуж и уехала в Румынию, мне же пришлось самой зарабатывать себе на хлеб. Я до такой степени увязла в долгах, что мне все стало безразлично. Нечем расплатиться за кофе — ну и наплевать! А ведь в свое время я готова была сквозь землю провалиться, когда, порывшись в сумочке, не могла достать оттуда ни гроша. Помнится, обер-кельнер в тот момент улыбнулся — полусочувственно, полупрезрительно. Уж кто-кто, а он-то на своем веку насмотрелся подобных сцен: не я одна ходила у него в должниках. Однако моя ситуация, думается, была самой безнадежной.

— Скажите, барышня, — вот уже две недели изо дня в день задавал он мне один и тот же вопрос, — когда же вы наконец расплатитесь со мной?

— Завтра, — шепотом отвечала я. — Завтра. — И бросала на него такой умоляющий взгляд, что он лишь качал головой и, как всегда, ставил передо мной чашку кофе, стакан воды и булочку с маком, которая заменяла мне ужин.

Нина пробыла со мной минут двадцать.

— Желая приятно поразвлечься в обществе банкира! — крикнула она мне на прощанье и убежала: перед ней мелькнул слабый лучик надежды попасть в кордебалет "Бург-театра".

Банкир... мой банкир... Я знала, что за глаза надо мной посмеиваются, ведь я уже четвертую неделю хожу сюда и, заняв свое обычное место, с тоской смотрю на компанию за большим артистическим столом. Мое внимание привлек симпатичный мужчина с усиками. Когда я впервые увидела его, он был в цилиндре и как раз раскланивался с Оскаром Штраусом, автором оперетты "Последний вальс", а я сказала подружкам, что это, должно быть, какой-нибудь банкир.

Уж очень он выделялся среди собравшейся компании, где были Ференц Легар, Штраус, соавторы-либреттисты Браммер и Грюнвальд, а также группа писателей — все в широких пиджаках и с волосами до плеч.

— Еще чего выдумала — банкир! — рассмеялись девушки. — Да это же Кальман, Имре Кальман!

— Не может быть! — Я разволновалась донельзя, а подружкам, конечно же, было невдомек, с чего это я. — Неужели... тот самый композитор Кальман?

"Королева чардаша"¹, "Марица" — сколько лет звучат во мне мелодии этих оперетт!

— Театр "Ан дер Вин" готовит к постановке его новую оперетту "Герцогиня из Чикаго", — заметила одна из девушек, тщетно пытавшаяся пробиться хотя бы в статистики.

Я молчала, пристыженная тем, что не узнала маэстро.

А ведь я могла бы сказать подружкам, что знаменитого Имре Кальмана я не только встречала, но однажды, два года назад, даже удостоилась беседы с ним. Представляю, как бы они высмеяли меня: сперва спрашивает, уж не банкир ли этот господин в цилиндре, а потом заявляет, что она, видите ли, с ним знакома... Дело же было так. В берлинском театре "Метрополь" я стояла за кулисами рядом с Кальманом, и он поинтересовался, кто я по национальности. Может, венгерка? "Нет, — сказала я, — русская", на что он воскликнул: "Господи, что за участь — с таких юных лет скитаться на чужбине!"

¹В СССР эту оперетту И. Кальмана принято называть "Сильва". — Здесь и далее прим. перев.

Конечно, нелепо было вылезать с этим эпизодом. Да и сам разговор-то состоялся мимоходом, такие встречи, как правило, не удерживаются в памяти. К тому же Кальмана я сейчас и сама не узнала. Но все же не случайно потянуло меня к господину в цилиндре: всплыла какая-то тень былого, раздался отзвук знакомого голоса...

И вот я изо дня в день просиживала в кафе, не сводя с Кальмана глаз, а он время от времени поглядывал на меня. Так было и на этот раз. Может, и ему вспомнилась русская девочка, стоявшая подле него за кулисами театра "Метрополь"?

Размашистым жестом, не скрывая, насколько он зол, обер-кельнер поставил передо мной стакан воды и грубо объявил:

— Ежели и завтра не расплатитесь за кофе и булочки, барышня, то не вздумайте сюда являться.

Тут я пробудилась от сладких грез. Вмиг увидела сумрачные стены, потертую плюшевую обивку, грязные манжеты обер-кельнера, скатерть в пятнах от кофе и свое поношенное, штопаное-перештопаное платишко.

У меня было ощущение, будто я двигаюсь в безвоздушном пространстве. Я встала и, пошатываясь, словно пьяная или больная, побрела сквозь эту странную пустоту, готовая на какой-нибудь отчаянный шаг.

— Подайте мое пальто, пожалуйста, — через силу вымолвила я гардеробщице.

— Обождите, — огрызнулась та. — Сперва обслужу маэстро. — И она потянулась, чтобы снять с вешалки пальто и цилиндр.

— Зачем же вы так! Займитесь сначала барышней.

— Невелика птица, подождет... Да она и здесь никогда не платит.

А я стояла как вкопанная, не отрывая глаз от Имре Кальмана.

Он не спеша подошел ко мне:

— Позвольте представиться: Имре Кальман.

Гардеробщица протянула ему пальто и цилиндр. Через дверь, ведущую в зал, проникали обрывки разговора, звон тарелок и чашек; со стороны входной двери доносились стук копыт и скрип колес. И между этими двумя шумовыми завесами, перекрывая их, звучал Его голос, произносивший прекраснейшие из всех слов, какие мне когда-либо доводилось слышать:

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

У меня возникло чувство, будто мне протягивают ту пресловутую соломинку, за которую я могу ухватиться. И как крик о помощи вырвалось:

— Маэстро Кальман, мне так хотелось бы выступить в вашей оперетте, в "Герцогине из Чикаго"! Я знаю, что уже идут репетиции, что на каждую роль есть по несколько претендентов. Но может, и для меня сыщется пусть самая крохотная роль? Я буду счастлива выступить хоть статисткой! Прошу вас, умоляю!

— Как вас зовут, фрейлейн?

— Макинская. Вера Макинская.

— А где вы живете?

— В пансионе "Централь", Иоганнесгассе, десять, на углу Кернтнерштрассе. Это совсем близко отсюда.

— Вот и прекрасно. Завтра я пришлю за вами машину. Мой шофер будет у вас в четыре часа. Я сам представлю вас господину директору Маришке.

Передо мной словно распахнулась дверь в залу, где стоит разукрашенная рождественская елка.

— Благодарю вас, маэстро, — дрожащим голосом промолвила я.

Он взял у гардеробщицы мое пальтишко из облезлого кроличьего меха и набросил мне на плечи таким жестом, будто помогал облачиться в горностаевую мантию.

В огромном городе, где почти каждый обыватель трепетал от страха перед надвигающимся экономическим кризисом, в тот день нашелся по крайней мере один человек, видевший мир в розовом свете. Мое счастье казалось мне естественным и безмятежным. Завтра, завтра сам Имре Кальман представит меня Губерту Маришке, который играет главную мужскую роль в новой оперетте Кальмана и к тому же является директором театра "Ан дер Вин". Конечно, на ведущую роль нечего и рассчитывать, ведь я не умею петь. Зато я получу шанс показаться и смогу хоть малость подзаработать.

Я облетела весь коридор, врываясь в каждую комнату и обнимая всех своих товарок.

— Да, но что же ты завтра наденешь? — трезвым тоном поинтересовалась моя подруга Нина.

И впрямь: в единственном своем платье, в облезлой шубейке, штопаных чулках и туфлях на картонной подошве не пойдешь представляться директору. Однако эта помеха лишь на миг замедлила мой блаженный полет в облаках.

— Ерунда! Неужели вы не выручите меня? Ты одолжишь мне свое платье, ты — чулки попримечнее, а ты дашь туфли.

Подружки загорелись этой идеей так же, как я. На следующий день семеро девушек снабдили меня самыми лучшими вещами из своего гардероба. Я едва сумела оторваться от зеркала, пораженная увиденным: кружилась и танцевала перед ним, то тут, то там одергивала и поправляла платье... И вот, разряженная в пух и прах, за час до назначенного срока я стояла в полной готовности.

Часы пробили четыре. Время ползло с чудовишной медлительностью. Наконец в пять минут пятого прибыл шофер. Подружки чуть не вывалились из окон, следя, как я подкашивающимися ногами переступила бровку тротуара и плюхнулась на сиденье машины.

Втайне я надеялась, что сам маэстро тоже окажется в машине — пусть бы хозяйка пансиона посмотрела! Однако кроме шофера там никого не было. Впрочем, роскошный двенадцатицилиндровый автомобиль и без того привлек всеобщее внимание: обитатели близлежащих домов и ребяташки, сбжавшиеся со всей улицы, плотным кольцом обступили диковинную машину и пассажирку, разряженную в чужие наряды. Только Золушку на этот раз превратила в принцессу не фея, а семь девушек, которые и сами жили бедней бедного.

— Вот и приехали, — сказал шофер, остановив машину у театра. И видя, что я не тороплюсь высаживаться, добавил: — Мне было велено доставить вас к служебному входу.

Эта дверь распахивается перед Ритой Георг, исполняющей главную роль в "Герцогине из Чикаго", перед Гансом Мозером, Губертом Маришкой и прочими участниками оперетты, этим входом в театр пользуется маэстро Имре Кальман.

— Куда это вы разлетелись? — встретил меня у входа чей-то недружелюбный окрик. Старая тетушка Пепи решила не пускать меня дальше привратницкой. — Ах, к маэстро Кальману? Тогда извольте сесть и ждите, пока вас позовут.

И тут я вижу, как ко мне подбираются... кошки. Господи, сколько же их — десять, двадцать! Да уж не меньше полусотни: большие и маленькие, черные и белые. Я перепугалась насмерть.

— Ежели вы боитесь кошек, милая, то уносите отсюда ноги подальше. Кто с моими любимицами не уживется, тому в театре делать нечего.

Коты и кошки осаждали меня со всех сторон, мяукали, терлись об ноги, являя собой реальную угрозу для взятых напрокат чулок.

Время тянулось бесконечно долго, пока наконец у привратничкой не раздался чей-то нетерпеливо-раздраженный голос:

— Тетушка Пепи, что, барышня еще не приходила? — Я с трудом узнала голос Кальмана.

— Как не приходила? Пришла, да только кошек, вишь, она боится.

— Отчего же вы не проводили ее наверх?

— А я почем знала, куда ей надо?

Когда Имре Кальман протянул мне руку, я поняла, что сразу выросла в глазах привратницы.

— Господин директор ждет вас.

Он действительно ждал меня — сам господин Маришка, директор театра и постановщик "Герцогини из Чикаго".

— Скажите, дитя мое, — приветливо обратился он ко мне, — что вы умеете делать? Чем вы занимались до сих пор?

— Снималась в кино, у меня была игровая роль... Вместе с Иго Симом.

— О, это превосходная рекомендация! Я о вас позабочусь. — Господин директор схватил меня за руки и улыбнулся той лучезарной улыбкой, что приходилась на долю его партнерш по сцене или киноэкрану. — Вы молоды и недурны собой. Не беспокойтесь, я возьму вас под свое крылышко.

— Не вздумай расправить свои крылышки, Губерт! — вмещался Кальман. — Девушка находится под моей опекой и для тебя — табу!

— Полно, Имре, чего ты так разбушевался! Я ведь из самых лучших побуждений... Не волнуйся, все будет в порядке. — С этими словами он достал контракт — уже заполненный по всем правилам — и положил его на стол передо мною. По условиям контракта мне причиталось 165 шиллингов — не ахти какой капитал, но Кальман заметил:

— Надеюсь, на житье этого вам хватит.

— Конечно, — ответила я. Главное, мне давали возможность выдвинуться.

Только за комнату в пансионе я должна была платить 200 шиллингов и потому мысленно уже прикидывала, где бы подзаработать недостающую сумму.

— Благодарю, маэстро, — потупясь, добавила я.

— Репетиции начинаются в девять утра, — официальным тоном заявил господин Маришка. — Итак, до свидания, завтра в девять.

— Какая у меня будет роль?

— Роль? Вы зачислены в хор. Полагаю, петь-то вы умеете?

— Нет.

— Ну, тогда будете статисткой.

— Благодарю, — повторила я и удалилась из директорского кабинета. Впрочем, какое там "удалилась" — я летела, не чуя под собою ног. Не то чтобы меня окрылила перспектива разжиться 165 шиллингами: просто подружки в пансионе уже, должно быть, заждались. Визит к директору затянулся надолго, а я рассчитывала вернуться гораздо раньше.

При моем появлении девушки облегченно вздохнули и все семь набросились на меня, поспешно раздевая: одной нужно было платье, другой — чулки, третьей — туфли... Кто-то из них опаздывал на свидание, кому-то предстояло выступить на сцене или отправиться из дому по делам. Они так спешили, что даже к рассказу моему не прислушались толком.

Вскоре я осталась одна. Лишенная всех своих украшений, вновь превратившаяся в Золушку, лежала я на скрипучей койке и предавалась мечтам о невероятной, фантастической карьере. В этих мечтах отводилось место и Имре Кальману, но не как человеку, которому я признательна за его благодеяние. В душе моей звучали его мелодии, наполнялись смыслом слова:

"Все счастье лишь в любви,
Любви большой и страстной..."

— Барышня, — раздался вдруг у меня над ухом голос хозяйки, — барышня, к телефону! Композитор Кальман вас просит.

Завернувшись в одеяло, я бросилась из комнаты. Хозяйка остановилась поблизости с явным намерением подслушать разговор. Плотнo прижав трубку к уху, я прокричала:

— Алло!

— Скажите, дитя мое, — тон Кальмана был отеческим, — отчего вы так поспешно убежали? И даже не попрощались!

Вопрос застал меня врасплох, и я не знала, что ответить.

— Я убежала, потому что... потому что мне срочно нужно было вернуться в пансион.

— Жаль. А я хотел было пригласить вас отметить знаменательное событие. Ведь с вами заключили контракт.

— Спасибо... Но тут... возникли некоторые обстоятельства, вот мне и пришлось поторопиться домой.

— Какие еще обстоятельства? — Кальман явно нервничал. — Отвечайте прямо: вы свободны сегодня вечером или у вас уже что-то намечено?

У нас, русских, такая уж натура: либо мы витаем в облаках, либо погружаемся в смертную тоску. Так и на меня нашло "похмелье" — беспросветное отчаянье Золушки, лишившейся кареты и бального платья.

— Да, как это ни досадно, ни печально, но факт: у меня назначено свидание с Мишелем. Он сопровождает меня повсюду. Однако если вы желаете пригласить меня, я охотно принимаю ваше предложение. Вот только мне не удастся выглядеть такой элегантной, как сегодня в театре.

Моя оговорка явно не произвела на Кальмана ни малейшего впечатления. Напротив, голос его вроде бы повеселел:

— Какая ерунда! Значит, я заеду за вами.

Сидя в роскошной машине, я едва решалась поглубже вздохнуть. И вовсе не от робости: просто я боялась, как бы ветхое платье не разлезлось на мне.

— У нас в Венгрии уменьшительное от вашего имени будет Вѐрушка. Можно мне вас так называть?

Он умолк на мгновение, и я услышала, как он набрал полную грудь воздуха, прежде чем продолжить:

— А вы могли бы звать меня Имре.

— Что вы, маэстро! — настал мой черед задохнуться. — Да у меня язык не повернется. Но вы зовите меня Верушкой.

Машина свернула на Кернтнерштрассе. Ослепительно сверкали витрины, залитые красными, желтыми и синими огнями. Я, уроженка далекой Перми, заброшенная в чужие края, бедная, как церковная крыса, сидела в роскошном автомобиле подле знаменитого композитора Имре Кальмана.

Размечтавшись, я чуть не пропустила мимо ушей его вопрос:

— Куда же нам пойти, Верушка?

— В какое-нибудь кафе, где я буду поменьше бросаться в глаза.

— Вы стесняетесь отужинать в моей компании? — он медленно и раздельно выговаривал каждое слово.

Господи, как можно не понимать таких простых вещей! Неужели, когда я вышла из подъезда, он не заметил, как я одета? Не зная, что ответить, я молчала.

— Тогда пойдем в "Опернкеллер", там нас будет ждать мой зять Йожи из Будапешта. Надеюсь, он вам понравится. Да и ресторан тоже.

Для меня все это было бы волшебным сном, не помни я о своем убогом жоржетовом платье, которое я столько раз чистила и утюжила, что ткань буквально расползалась.

Наконец и Кальман сообразил, что я выгляжу не так, как в прошлый раз.

— Пойдите, Верушка, ведь в театре вы были одеты по-другому!

Я призналась, что все те вещи принадлежали не мне.

— Тогда, детка моя, вся надежда на Цвибака, — он назвал владельца самого элегантного магазина в Вене. — Завтра пойдете туда и оденетесь с головы до ног.

— Нет, — упрямо возразила я, — ничего мне не нужно. Просто не хотелось бы показываться в людных местах до тех пор, пока я не заработаю достаточную сумму, чтобы прилично одеться.

— На 165 шиллингов не очень-то разгуляешься... — начал было Кальман, но в этот момент появился его зять Йожи. Громко произнося стереотипные фразы, вроде "все домашние шлют тебе привет", он между делом шепнул Кальману:

— Побойся бога, Имре! Мыслимое ли дело выводить на люди девушку в таком виде. Да и себя ты компрометируешь. Неужели не видишь, у нее платье на локтях насквозь протерлось?

Откуда ему было предположить, что я пойму смысл сказанного! Ведь во время моих странствий по свету я ухитрилась немного поднатореть даже в венгерском и если не все слова Йожи, то уж самую их суть уловила. Свет померк у меня перед глазами. Я с трудом встала, пробормотав "сейчас вернусь", вышла в гардероб, схватила свое пальтишко и — скорей отсюда! Дождь лил как из ведра, и на душе был мрак. Хорош родственничек, нечего сказать. Видеть его больше не желаю! Да и самого Кальмана тоже.

Никогда, никогда!

Едва я дошла до угла, силы оставили меня. Слезы струились по щекам наперегонки со струйками дождя. Гроза

над Веной пронеслась, отгремела и скоро утихла — не в пример той буре, что бушевала в моей душе.

Все рухнуло: покончено с театром, покончено с Имре Кальманом!

Я промокла до нитки и, поскольку другой смены одежды у меня не было, повесила на оконную ручку сушиться белье и платье, а сама забралась туда, где одежда не требуется, — под одеяло.

Взошла луна. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к звучащей в душе выходной арии Марицы:

”Вот спустилась мгла,
И луна взошла...”¹

Романтические грезы прервал энергичный стук в дверь: хозяйка звала к телефону.

— На проводе господин Кальман, — сказала она.

— Меня нет дома, — объявила я и разревелась. Плакала, должно быть, с полчаса и почувствовала, что голова моя просто раскалывается. Затем мне почудилось, будто я сплю и во сне слышу голос Имре Кальмана. Откуда-то издалека донеслись его слова: ”Мне необходимо поговорить с фрейлейн”.

Другой голос, явно принадлежавший хозяйке пансиона, отвечал ему: ”Извольте, господин композитор. Пожалуйста сюда”.

Голоса приближались, и я открыла глаза. Крохотная комнатка, я лежу в своей постели — значит, все это мне не снится, а происходит в действительности. Послышались шаги в коридоре, под самой дверью моей комнаты. Кто-то рывком распахнул дверь: хозяйка даже не дала себе труда постучать. Вид у нее был торжествующий. Несомненно, из всех участников сцены она была единственной, кто от души наслаждался ситуацией. Имре Кальман буквально ввалился в комнату. Поднял глаза к окну, где сохла развешенная одежда, затем перевел взгляд на меня. Натянув одеяло до подбородка, я старалась выдержать его взгляд.

Он осторожно положил на тумбочку коробку шоколада и обронил какую-то незначительную фразу вроде: ”Что с вами стряслось?”

Затем Кальман медленно повернулся к хозяйке. Та пробурчала нечто невнятное, лицо ее выражало полнейшую

¹Русский текст Е. Геркена.

растерянность. Пожав плечами, она вышла из комнаты. Мы оба молчали, прислушиваясь к тому, как удаляются ее шаги.

Кальман снял шляпу и прочувствованно произнес:

— Вы живете в святой нищете, дитя мое.

— Я слышала, что сказал ваш зять, и прекрасно поняла его слова.

Мне и самой было ясно, что моя тирада отнюдь не является ответом на реплику Кальмана, однако я испытывала потребность защитить свою гордость.

— Такой нищенке, как я, не место в приличном заведении. Но пусть он хоть стократ прав, все равно нельзя было так говорить. — Слезы у меня текли в три ручья, я захлебывалась от рыданий. — Как он посмел меня оскорбить! Ведь, будь у меня друзья-покровители, я бы не ходила в обносках, а щеголяла бы в роскошных нарядах. Посмотрите сами: подошвы до того прохудились, что приходится набивать туфли газетной бумагой и вкладывать картонные стельки. Но меня не купить за деньги! — упрямо воскликнула я, хотя была близка к отчаянию.

— Разумеется, дитя мое, я и сам все это знаю! Поверьте, я так сожалею о том, что произошло.

Передо мной стоял не только прославленный композитор, но человек втрое старше, чем я. Взгляд его скользнул по нише, где вбитые в стену гвозди заменяли мне платяной шкаф, по голому, без занавесок, окну, по убогой постели. И тут я вдруг увидела, что лицо у него не просто симпатичное, но и доброе.

— С зятем я крупно поспорил. Как он посмел наговорить такое! Да он и сам раскаивается. Просит, чтобы вы его простили.

— Так и быть, но видеть его я больше не желаю! — Стоило только вспомнить зятя Йожи, как возмущение вскипело во мне с новой силой.

— Он дожидается в машине. Прошу вас, оденьтесь и присоединитесь к нам. Поедем куда-нибудь поужинать. Вы ведь ничего не ели и наверняка голодны.

— Неважно. — Я приподнялась и подвинула к себе коробку шоколада, лежавшую на тумбочке. — Мне нечего надеть, господин Кальман. А с голоду я не умру, продержусь на шоколаде.

Наблюдай эту сцену друзья Кальмана — Ференц Легар или Оскар Штраус, — они наверняка воспользовались бы ею в качестве сюжета или хотя бы вставного эпизода для оперет-

ты. Однако я чувствовала себя отнюдь не как опереточный персонаж, да и Кальман, судя по всему, тоже. Жизнь он воспринимал настолько же серьезно, насколько легкой, игривой, чтобы не сказать легкомысленной, была его музыка. "Рука легкая, сердце тяжелое" – Имре Кальмана можно охарактеризовать теми же словами, что и Иоганна Штрауса, создателя "Летучей мыши".

В тот вечер Кальман воздержался от дальнейших уговоров. Получив отказ, он ушел, твердо убежденный, что я и без того на следующий день непременно наведаюсь к Цвибаку – приобрести туалеты на его счет.

Однако он ошибся. На другой день я и не подумала идти к Цвибаку, а около девяти утра отправилась в театр на репетицию.

Четырьмя годами раньше в Вене была с успехом поставлена "Марица", а два года назад – "Принцесса цирка". Новая оперетта Кальмана заранее воспринималась как сенсация, никто не знал, о чем там пойдет речь. За неполных двадцать лет Имре Кальман завоевал весь мир. Любому статисту театра "Ан дер Вин" история его карьеры была столь же хорошо известна, как и признанному критику.

Именно этот театр, поставивший в 1909 году его оперетту "Осенние маневры", послужил Имре Кальману трамплином к успеху (хотя премьера ее состоялась годом раньше в Будапеште). Люди более пожилого возраста и по сей день со слезами восторга вспоминают исполнителей главных ролей Бетти Фишер, Грету Хольм и Отто Шторма, а в особенности комическую пару – Луизу Картуш и Макса Палленберга.

Я пыталась представить себе, какие чувства может испытывать человек, срывающий успех за успехом: в 1912 году – оперетта "Цыган-премьер", три года спустя – покорившая всех "Королева чардаша", в 1917-м – "Фея карнавала", в 1920-м – "Голландочка", а в 1921-м – "Баядера"!

Звезды мировой величины снискали в его опереттах колоссальное признание: Александер Жирарди отличился в "Цыгане-премьере", Фрици Массари – в "Королеве чардаша" и "Фее карнавала", Клер Дюкс – в "Баядере". Стоило вспомнить эти столь прославленные имена, и сам собою возникал вопрос: с чего бы Имре Кальману уделять внимание моей ничтожной персоне?

Некоторые скептики сомневались, что "Герцогиня из Чикаго" принесет такой же успех, как "Марица" или "Королева чардаша". Для меня же эта постановка знаменовала

начало новой жизни. Начало, старт — не более того. Вместе с одиннадцатью другими девушками я должна была расхаживать по сцене, а иногда, разнообразия ради, даже на минуту-другую остановиться. Мне досталась роль настоящей статистки, то есть так называемая "ходячая" роль: мы должны были прохаживаться по сцене в то время, когда другие пели или произносили свой текст.

— А вот и Кальман, — шепнул кто-то рядом, но я сделала вид, будто не слышу.

Впереди, на авансцене, репетировали Рита Георг, Губерт Маришка, Ганс Мозер, Гуго Тиминг и артист "Бургтеатра" Фред Геннингс. Кальман вошел бесшумно, незаметно — и все же на сцене словно появился король.

Актеры прекратили репетировать. Имре Кальман приветливо улыбаясь, поздоровался за руку с каждым, начиная с ведущих солистов и кончая исполнителями второстепенных ролей.

Я спряталась: забила в самый последний ряд, так что меня нелегко было обнаружить. И все же он отыскал меня. Пока солисты, сбившись кучкой, обсуждали дальнейший ход репетиции, Кальман подошел ко мне, протянул руку и довольно громко сказал:

— Доброе утро. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, — ответила я. — Как всегда, хорошо.

Едва он успел отойти, как меня обступили все статистки.

— Я бы на твоём месте заказала для правой руки золотую рамку, — посоветовала одна из них.

— Пожалуй, я так и сделаю, — отпарировала я.

В тот день мы репетировали третье действие. На сцену вышел Ганс Мозер, изображавший балканского князя; прогуливаясь об руку с двумя смазливymi кокетками, он восторженно и не без хвастовства твердит: "Смотрите-ка, с какими дивными парижанками я гуляю! Взаправдашние парижанки, они и говорить-то умеют только по-французски". В ответ на что одна из девиц и в самом деле спрашивает по-французски, чего, мол, он ждет, когда обе они голодны. Мозер, еще больше напыжившись, с гордостью указывает на них и повторяет: "Видите, они говорят только по-французски!" Сцена разыгрывается еще несколько раз, пока наконец одна из девиц, потеряв терпение, не выходит из себя. "Чего тянуть, старина? — восклицает она, причем по-немецки. — Не пони-

маешь, что ли, какие мы голодные?” А Мозер, в своей неподражаемо уморительной манере, пожимает плечами и, обернувшись к публике, шепчет: “Слыхали, как шпарит по-французски?” Публика, конечно же, раздражается смехом.

Девушка, которой нужно было произносить французский текст, никак не справлялась со своей задачей. Вдруг я услышала — столь же явственно, как и все присутствующие на сцене, — слова Кальмана, обращенные к директору театра:

— Губерт, моя протезе знает французский. Порепетируй с ней!

Мне пришлось выйти вперед.

— Вы действительно владеете французским? И в какой степени?

— В совершенстве.

— Гм... Ну, если так, то прочтите вот эти несколько фраз.

Речь шла о двух коротких фразах, и мне не составило труда с убежденностью произнести по-французски: “Чего тут ждать? Мы обе голодны!”

— Превосходно! — Маришка захлопал в ладоши. — Вы будете произносить эти фразы, а значит, вам и играть с Гансом Мозером!

Так прошло мое первое утро в театре “Ан дер Вин”. Я вновь стояла на самой нижней ступеньке лестницы, ведущей к славе. Оставалось надеяться, что на сей раз она окажется прочнее ступеньки в кинокомпании “Саша”.

Я витала в заоблачных высях. Меня отправили в пошивочную заказать платье и цветное болеро. Костюмы для оперетт в этом театре моделировала тогда Лилиан Карцаг, жена Губерта Маришки.

Получила я и новый контракт: как начинающей актрисе мне положили жалованье в 365 шиллингов вместо прежних 165.

Возможно, особое ударение, которое я делала на слове “голодны”, оказалось причиной того, что Имре Кальман, вынув из кармана две булочки с ветчиной, по-братски поделил их со мной. Вот тут-то и выяснилось, что прописные истины не всегда соответствуют действительности. Известно, к примеру, выражение: “За добро воздается добром”. За свою доброту к начинающей актрисе Имре Кальман поплатился тем, что ему на долгое время пришлось расстаться с половиной своего завтрака. Такое положение продолжалось

даже после того, как эта артисточка перестала выступать в театре "Ан дер Вин" и вообще оставила сцену.

Репетиция длилась до пяти часов. Затем я помчалась в костюмерную взглянуть, как обстоят дела с моим платьем. Оказалось, что оно уже наполовину готово. Когда я бежала к выходу, тетушка Пепи, владелица кошачьего царства, высунулась из привратничкой и с умильным видом промурлыкала:

— Однако же быстро вам удалось продвинуться! Поздравляю!

Дошлая привратница все видела, все знала, и для этого ей не требовались радио или телевидение. Знала она и о том, что меня ждет сам Имре Кальман.

В тот вечер мы отправились в маленькое кафе Шперля, тут же на углу, поблизости от театра. Перед уходом Кальман сообщил привратнице, куда мы идем. Поначалу я решила, что среди знаменитостей так заведено — чтобы их всегда можно было найти, если они кому-то понадобятся. Однако на сей раз информация была предназначена лишь зятю Йожи.

В кафе я заказала два яйца всмятку и ломтик ананаса. Скромность моя объяснялась очень просто: я понятия не имела, что бы мне еще выбрать из обширного перечня блюд. Едва мы успели сделать заказ, как к нашему столику подошел зять Йожи.

Первым моим побуждением было вскочить и убежать прочь, однако Йожи удержал меня. Поцеловав мою руку, он произнес:

— Верушка, у меня не было никаких дурных мыслей.

При этом он даже не поинтересовался, может ли обратиться ко мне так запросто, по имени.

В тот вечер я впервые почувствовала, что значит для будапештцев, и прежде всего для человека такой пылкой души, как Имре Кальман, понятие "семья". У меня не было никого, кроме матери, я сама по себе, как мотылек, порхала туда-сюда. А для этого человека, у ног которого простирался весь мир, свет сошелся клином на небольшом прибалатонском местечке. Имре Кальман родился в Шиофоке, на берегу Балатона, 24 октября 1882 года.

В наши дни Шиофок — курортный город. За первое десятилетие жизни Имре Кальмана из маленькой рыбацкой деревушки он превратился в модный курорт. Немаловажную роль сыграл в этом отец Кальмана, член местного акционерного общества, занимавшегося вопросами развития родного

города. Однако все начинания господина Кальмана-старшего, владельца торгового дела, в конце концов привели его к краху: осуществление столь фантастических планов, как — наряду с прочим — создание театра оперетты и ипподрома, далеко превосходило финансовые возможности общества. Кальман-старший вложил в предприятие все свои средства и все их потерял, до последнего филлера.

А для юного Имре Кальмана первой любовью стало огромное озеро с его великолепными пляжами летом и жестокими бурями зимой. Глубокую привязанность к родным местам он сохранил на всю жизнь, и когда ему пришлось расстаться с Шиофоком, десятилетний мальчик горевал, будто навеки прощался со счастьем. Для семейства Кальман — отца, матери и шестерых детей — до конца их дней самым страшным остался 1892 год. Не только потому, что именно тогда разорился отец и из обжитого гнезда семье пришлось перебраться в Будапешт в тесную наемную квартиру, — главная беда заключалась в том, что родители были вынуждены раздать детей родственникам.

К моменту нашего знакомства с Имре Кальманом его отца два года как не было в живых, а старший брат Имре — Бела — покоился в могиле уже одиннадцать лет. Матери его, по моим подсчетам, тогда было, наверное, за семьдесят, она жила в Будапеште вместе с младшей дочерью Илонкой. Остальные три сестры: Вильма (она была старше Имре), а также Розика и Милика (обе моложе его) тоже обосновались в Будапеште, при своих мужьях.

Йожеф — или Йожи, как называл его Имре, — муж Розики, присев к нашему столику в маленьком венском кафе, ласково, однако весьма решительно объявил:

— А завтра, Верушка, мы отправимся к Цвибаку.

Однако за экипировкой я отправилась отнюдь не в сопровождении Йожи.

Тот день начался так же, как и все остальные. В десять утра — репетиция. В одиннадцать является господин Кальман, достает пакет, и мы на пару съедаем булочки с ветчиной. После репетиции он спрашивает, сколько времени мне понадобится, чтобы обзавестись в модном магазине всем необходимым, и тотчас предупреждает мои возражения:

— Разумеется, все покупки вы сделаете займы и распла-

титесь со мною, когда станете прилично зарабатывать. Ну, так сколько же времени это у вас займет?

— Минут десять-двенадцать, — ответила я. Кальман обещал подождать меня у входа. Для владельцев автомобилей тогда была золотая пора, даже на Кернтнерштрассе в любом месте не составляло труда найти стоянку.

А я в одиночестве поднялась на второй этаж модного магазина. Желания мои были продуманы заранее, и я точно знала, что мне нужно: шелковое плиссированное платье лазоревого цвета, сумку, туфли, перчатки ему в тон. Еще я выбрала прелестную наплечную синюю косынку, трех, переходящих один в другой, оттенков.

Процедура эта заняла не десять, а добрых тридцать минут.

— Счет перешлите господину Кальману, — небрежно процедила я. Свое старое платье я бросила на плетеное бамбуковое кресло. Приказчица взглянула на эту тряпку, затем окинула взглядом мое сказочное синее одеяние.

— Но ведь так каждый может сказать. Чем вы это подтвердите?

Я подбежала к окну и указала на машину за широким зеркальным стеклом.

— Вон та машина у входа — моя. Сейчас я выйду, сяду в машину, и вы сами убедитесь. Этого вам достаточно?

Увы, этого оказалось не достаточно. Приказчица сперва спустилась к машине сама, дабы удостовериться в моих правах собственными глазами, и лишь потом отпустила меня.

Кальман поначалу и словом не обмолвился насчет моих покупок. Первым делом он задал вопрос, где мои старые вещи, ведь должен же у меня быть при себе какой-нибудь сверток. Это было характерно для Кальмана — он никогда ничего не выбрасывал.

— Маэстро, эти бумаги хранятся у нас с допотопных времен, их давно пора выбросить, — как-то раз сказала ему секретарша.

— Ладно, — согласился он по некотором размышлении. — Только прежде снимите с них копии.

С моего старья нельзя было снять копию, и я была рада-радешенька, что могу наконец выбросить эти обноски.

— Отправились на помойку. Туда им и дорога, — ответила я. Однако такая расточительность никак не уживалась с его буржуазными представлениями о бережливости.

— Ну, что ж... — Ему понадобилось какое-то время, чтобы

переварить мое заявление. — Хорошо, дитя мое. Но ведь не станете же вы ходить в этом каждый день...

Я не дала ему докончить фразу:

— Еще как стану! Только в этом платье и буду ходить каждый день!

Судя по всему, он лишь в этот момент увидел, как идет мне новое платье, до чего подходят к нему косынка и все прочие аксессуары. Он засмеялся, довольный, как мальчишка.

— Пойдем сегодня в "Опернкеллер"? Надо же прогулять эту "голубую симфонию"!

— Сегодня пойдем, — согласно кивнула я.

На репетицию я шла пешком: от угла Иоганнесгассе — на полпути между собором св. Стефана и зданием Оперы — вдоль всей Кернтнерштрассе и Ринга, пока слева не показалась церковь Карла, а затем вдоль речушки, которой был обязан названием сам город, вплоть до дома № 6 по Линке Винцайле. Отсюда был вход в театр "Ан дер Вин" — знаменитый венский театр оперетты.

Когда-то здесь властвовал Вильгельм Карцаг; в 1909 году им была осуществлена постановка оперетты "Осенние маневры", а в 1924 — "Марица". Губерт Маришка — постановщик "Герцогини из Чикаго" — доводился Карцагу зятем и наследовал его дело. Текст принадлежал перу Грюнвальда и Браммера, эти авторы весьма успешно выступали на пару, и Кальман вот уже десять лет работал с ними. Либретто "Баядеры" и "Марицы" тоже были написаны ими.

Вена лихорадочно готовилась к очередной музыкальной премьере. В преддверии этого знаменательного события зародилась дружба прославленного композитора и неизвестной статистки — юной русской девушки. По утрам Имре Кальман неизменно делился со мной принесенными булочками с ветчиной, а вечером мы вместе ужинали. Конечно, по театру пошли пересуды, однако никто не принимал нашей дружбы всерьез.

Ведь в жизни Кальмана бывали увлечения и посерьезнее. Всего лишь несколькими неделями раньше он поставил на гринцингском кладбище мраморный памятник, изображающий парализованную женщину в кресле-каталке: женщина взирает на кладбищенских посетителей с отрешенностью человека, навеки покинувшего эту юдоль скорби. Имре Кальман увековечил память Паулы Дворжак, близкого ему

человека, он самоотверженно заботился о ней с тех пор, как та тяжело заболела, вплоть до последних дней ее жизни.

По Вене давно ходили сплетни и о другом серьезном романе Кальмана. Завязался он не в скромном кафе, а там, где собираются сливки общества: в салоне барона Йозефа Конрада фон Гёцендорфа (двоюродного брата Конрада Гёцендорфа, генерала первой мировой войны).

”Бьют барабаны, и трубы трубят...” — такими словами начинается любовная ария из оперетты ”Принцесса цирка”, посвященная обворожительной баронессе Конрад. ”И пара дивных глаз чарующе глядят на вас” — яснее Кальман не мог выразить свои чувства.

Обладательница чарующих очей, выступавшая под своей девичьей фамилией Эстерхази, была прославленной звездой немого кинематографа. Ни для кого не было тайной, что Имре Кальман без ума от графини Агнес Эстерхази.

Знала об этом и я. Знала и о дальнейшем развитии событий: прекрасная графиня развелась с мужем сразу же после того, как Имре Кальман похоронил свою подругу жизни.

”Любовь моя, мечта моя, о где же ты?

Нет, никогда мне не достичь своей мечты...” —

так звучит продолжение арии. И теперь уже ничто не препятствовало осуществлению мечты.

”Герцогиня из Чикаго” занимает особое место в ряду оперетт Кальмана: она скорее ”американская”, нежели классическая венская оперетта. Однако на сей раз автор отнюдь не был настроен так мрачно, как прежде перед каждой очередной премьерой. На первом представлении ”Королевы чардаша” он буквально сбежал от публики и журналистов. Лишь после четырехдневных поисков друзья набрали на его след и смогли сообщить ему радостную весть: вся Вена ”заболела” новой опереттой.

Теперь же Кальман беззаботно смеялся:

— Верушка, завтра премьеры!

— Как же, знаю. Приехала ваша красавица графиня Эстерхази.

— Да, приехала... — Он задумчиво смотрел на меня. — Вы проведете со мной завтрашний вечер?

— Пока еще не решила.

Я прекрасно знала: семейство Кальман и во сне мечтает о его браке с прекрасной графиней.

В тот день я впервые получила свое жалованье — договорные 365 шиллингов. Лазоревое шелковое платье вдруг показалось мне ненавистным. Я обошла несколько магазинов, купила себе новый наряд — в бежевой гамме (бежевый цвет с тех пор терпеть не могу!). Направилась было в обувной салон за подходящими к нему туфлями, а деньги-то, оказывается, уже все!

— Ведь это вы, кажется, поставяете обувь для нового спектакля в театре "Ан дер Вин"?

— Совершенно верно.

— Я тоже играю в этой оперетте — главную роль в третьем акте. Мне очень нужны туфли... Первого числа я с вами расплачусь.

— Э-э, нет! — подбоченясь, язвительно ответила хозяйка салона. — В кредит мы никому не продаем.

— Я вас очень прошу... — сделала я еще одну попытку.

— Нет! — решительно отрезала владелица, а я на этот раз не располагала поддержкой Кальмана.

Новым туалетом я обзавелась, а туфель к нему у меня не было. Вдруг Кальман после премьеры пригласит меня, втайне надеялась я. Пришлось одолжить туфли у своей подруги Нины. Достаточно напихать ваты в мыски, и туфли будут совсем впору.

"Обувка дареная, обувка должнная и дружбу растопчет", — гласит русская пословица.

В театре "Ан дер Вин" 1336 мест. Столько зрителей и пришло на премьеру. Впрочем, народу набилось больше, нашлось немало охотников даже постоять.

Я должна была выступить лишь в третьем акте, но уже во время первого была загримирована и одета. Слоняясь без дела, я забрела в привратницкую и увидела в пепельнице три окурка от сигар. Я знала, что лишь один-единственный человек имел обыкновение курить там сигары, однако на всякий случай спросила у тетушки Пеппи:

— Окурки оставил маэстро Кальман?

— Он самый.

— Можно мне их взять?

— А зачем они вам?

— Уберу на память.

Тетушка Пепи наблюдала, как я бережно упаковываю реликвии. За годы пребывания в театре она насмотрелась таких чудачеств, что ее трудно было чем-то удивить. Показав головой, она буркнула себе под нос: "Пока вы тут окурки подбираете, графиня Эстерхази приберет к рукам маэстро Кальмана".

Поначалу у меня было намерение забиться куда-нибудь в уголок и сосредоточиться на трех фразах своей роли, но вместо этого я бродила по театру как неприкаянная. Мне ужасно хотелось увидеть эту женщину вблизи.

И в антракте после второго действия я наконец увидела ее: высокая, стройная графиня Эстерхази стояла в дверях ложи. На плечи ее была брошена горностаевая накидка, а драгоценности сверкали ослепительным блеском. Она поразила меня своей красотой, и в то же время в ее облике мне почудилась такая глубокая печаль, что на мгновение я забыла о собственной грусти.

Девушки в артистической уборной перешептывались: у пылкой графини был якобы роман с каким-то кинопродюсером. И сейчас, когда Агнес Эстерхази и Имре Кальман стояли в дверях ложи, я могла себе представить следующий разговор между ними. "Поздно, Агнес", — говорит Кальман. "Но я люблю тебя, Имре", — возражает ему графиня. "Я не смогу забыть измену", — стоит на своем Кальман.

Разумеется, диалог этот выстроился лишь в моем воображении: ведь они стояли так далеко от меня, к тому же разговаривали по-венгерски. И все же душа моя ликовала. Никто не способен был поколебать мой оптимизм, даже сам Кальман, который после моего выступления появился за кулисами.

Я чувствовала: мои реплики удались с такой легкостью, с таким задором, что вызвали радостный отклик даже у моего партнера Ганса Мозера.

— Хорошо я провела свою роль? — спросила я Кальмана.

— Хорошо? Да вы были великолепны, дитя мое!

— А вы, маэстро? Вы довольны?

— Нет. Я никогда не бываю доволен.

— Но ведь публика так аплодировала, что потолок едва не рухнул. Завтра об этом напишут в газетах.

Я не могла понять, отчего он так мрачно настроен, когда публика надрывается от криков, выражая свой восторг.

— В газетах меня обольют грязью, — хмуро проговорил Кальман.

— Ну, а если отзывы будут хорошие, тогда-то вы порадуетесь, маэстро?

Поздравляя меня с моим ничтожным успехом, он радовался точно ребенок долгожданному подарку. Теперь же вел себя так, будто его одолевали дурные предчувствия.

— Ни за что! — проворчал он. — Хоть бы и вправду обрушился потолок, я никогда не буду собой доволен.

Я не приняла его слова всерьез. Его мрачное настроение казалось мне рисовкой, капризом великого человека, избалованного славой. Впрочем, мне некогда было об этом раздумывать. Я прикидывала про себя так и этак, и по всем моим расчетам выходило, что Имре Кальман будет отмечать этот праздничный вечер не с красавицей графиней. Я наспех разгримировалась и заняла пост внизу у двери в привратническую. Театральный вестибюль был залит светом, я же скромно стояла в тени. Мимо меня пробежали к выходу сперва хористки, затем статисты. Со стороны зрительного зала по-прежнему доносились аплодисменты, выкрики, публика требовала на сцену Мозера, Риту Георг, Губерта Маришку и Имре Кальмана.

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем они появились: Ганс Мозер, Губерт Маришка, Рита Георг, Агнес Эстерхази. Прелестная графиня блистала в своей горностаевой накидке, а подле нее шел Имре Кальман.

Из всей компании я видела лишь их двоих. Но ни он, ни она не заметили меня у привратнической. Слышно было, как у подъезда с шумом распахнулась, затем захлопнулась дверца автомобиля. Потом к выходу из театра подкатила другая машина — для матери и сестер Кальмана. Дверца захлопнулась, машина отъехала.

Дождь лил не переставая. В отчаянии стояла я у театрального подъезда.

— Тетушка Пепи, — жалобно взмолилась я, — не найдется ли у вас зонтика?

— Как не найтись, конечно, найдется, да ведь он мне самой надобен. Неужто вы вообразили, барышня, будто маэстро Кальман пожелает отпраздновать премьеру с вами?

”Кольшет розы ветерок,

Любовь для нас — счастливый рок...”

Эти слова принадлежат влюбленной героине ”Принцессы цирка”. Их вполне можно было отнести и ко мне, хотя я вовсе

не ощущала себя опереточной героиней после первой сценической премьеры.

Тетушка Пепи, желая меня утешить, налила кружку молока. Угощение, разумеется, предназначалось для ее питомцев. Но, видимо, своей неутешной тоской я напомнила ей убогую, бездомную кошку.

Когда я добралась до дому, юбку мою нельзя было назвать даже юбочкой: промокнув под дождем, она безобразно села. Материя хранила память о поре инфляции. Теперь, по прошествии лет, она съезжилась так же, как в свое время ценность денег. Но это была единственная юбка в моем гардеробе. Синее платье я поклялась всеми благами мира никогда больше не надевать. Ни за что! Швырну его к ногам Кальмана! Или к ногам его графини.

Рано утром зазвонил телефон. Но звонок был не от Кальмана, а от театрального распорядителя: мне было велено к одиннадцати явиться в театр, состоится прогон спектакля — пьеса слишком затянута, придется кое-какие куски убрать.

Мне-то спектакль не показался затянутым, хотя я освободилась лишь к половине двенадцатого ночи. Кроме того, на первых представлениях многие арии приходится исполнять на бис, впоследствии же восторги публики несколько утихают. Да и вообще меня это не касается. В ушах у меня звучали слова Кальмана: "Вы были великолепны!"

Губерт Маришка — директор театра и режиссер — в то утро не удостоил похвалы ни одного из исполнителей. Он внимательно вслушивался в текст и довольно часто выносил безжалостный приговор: вычеркнуть! Когда дошел черед до моих трех фраз, он не задумываясь решил:

— Две фразы выбросить. Что же касается третьей...

— Но ведь это всего лишь несколько секунд, — перебила я господина Маришку.

— А нам надо убрать лишние час и двадцать минут, ясно? У вас остается одна фраза... — Господин Маришка сидел у стола, исчерканный экземпляр "Герцогини из Чикаго" был развернут у режиссера на коленях, а я понуро стояла перед ним. — И двигаться надо поживее, вы слишком затягиваете свое пребывание на сцене!

— Господин директор, но даже свою единственную фразу я должна ведь произнести до конца!

— Вовсе не обязательно! Можно произнести ее на ходу!

— Но тогда меня не услышат!

— Ну и ладно!

Имре Кальман по обыкновению запоздал, а появившись в театре, всем своим видом давал понять, что не имеет к происходящему ни малейшего отношения. В то утро все были взволнованы, возбуждены или подавлены, лишь он держался как ни в чем не бывало. Дошла очередь до меня. "Доброе утро, Верушка", — сказал он, протягивая мне руку. А когда в ответ я скупно обронила "доброе утро", пристально посмотрел на меня и спросил:

— Что с вами?

Я поступила точно так же, как любая неопытная девчонка, обиженная, но желающая скрыть свою обиду.

— Со мной? Ровным счетом ничего! — заносчиво произнесла я.

— Вот как? Но вы же явно чем-то недовольны.

— Меня лишили роли. Выбросили мои реплики.

— О, даже ваших трех фраз не пощадили? Но ведь вы сами убедились, насколько затынутым получился спектакль. У театра свои требования, вам, вероятно, не приходилось с этим сталкиваться...

Я стояла как столб и остро испытывала неловкость ситуации. Господин Маришка покончил с сокращениями, а артисты постепенно стали удаляться со сцены. Лишь мы вдвоем не трогались с места.

— Да-да, конечно, — проговорила я. — Пустяки, ничего страшного.

Он вперил в меня задумчивый, испытующий взгляд, словно желая прочесть те мысли, которые мне хотелось утаить. И задал вопрос, которого я так боялась:

— Что вы делали вчера вечером?

— Вчера? О, я прекрасно провела время!

Имре Кальман не дал мне окончательно запутаться во лжи.

— Вы убежали из театра под проливным дождем и без зонтика, тетушка Пепи мне все рассказала. Я так сожалею...

Эти слова были последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Он, видите ли, сожалеет. Да не желаю я больше с ним иметь ничего общего! И я, подобно какой-нибудь примадонне в кульминационной сцене, высокомерно отрезала:

— Тут не о чем сожалеть. Забавное происшествие, не более того.

— Ах, вот как!

— А сегодня утром я собрала и упаковала все, что от вас

получила: коробку шоколада и наряды. Можете отдать своей графине, хотя синее платье наверняка на нее не налезет!

Похоже, Кальмана эта моя выходка удивила меньше, чем меня самое.

— Послушайте, дитя мое... — Его интонация живо напомнила мне опытного дрессировщика, приступающего к работе. — Я должен объясниться. — Он огляделся по сторонам. — Давайте пройдем в фойе.

Кальман разработал великолепную стратегию, позволявшую ему внезапно атаковать мои позиции. Едва мы успели сесть в кресла, как...

— Какие красивые у вас колени, — прямо, без обиняков, заявил он.

У меня мигом вылетели из головы все замечательные фразы, которые я сочинила по пути. Но мне не хотелось сдаваться.

— У вашей графини не хуже.

Он помолчал, словно обдумывая мои слова.

— Пожалуй... Но все же не такие округлые.

— Придется уж вам довольствоваться ее прелестями, — парировала я.

Трудно передать выражение его лица в ту минуту: внешне вроде бы сочувственное, хотя в душе Кальман явно потешался надо мной.

— Уж не ревнуете ли вы? — спросил он, доверительно наклонившись ко мне.

— С какой это стати? Дело не в этом... Я ведь и не ждала, что вы усадите меня в свой сказочный автомобиль и повезете в какой-нибудь ресторан: вы были с семьей, со своей графиней, в компании других людей. Но я была вправе ожидать, что, проходя мимо, вы хотя бы пожелаете мне доброй ночи.

— Я вас не заметил. У меня голова шла кругом...

— Не заметили? А между тем я стояла поблизости и видела, как вы выходили.

— Но я-то не видел вас.

Его невозмутимое спокойствие вывело меня из себя.

— Признайтесь, что вам было стыдно.

— Стыдно? С чего бы это?

— Вам было неловко за меня... потому что я бедна. Только учтите: гордости у меня тоже хватает. Ничего мне от вас не нужно, я все вам верну обратно! Да, все так и было, как вам рассказала тетюшка Пеппи: я бежала по улице под проливным

дождем и, пока добралась до дому, стала похожа на мокрую курицу. Я выступлю в театре еще несколько раз, чтобы расплатиться с долгами, а уж потом все между нами будет кончено! Навсегда!

Откуда мне было знать в ту пору, что подобные вспышки не только не помогают человеку скрыть свои чувства, а напротив, выдают его с головой...

Кальман не моргнув глазом ждал, пока моя злость выдохнется.

— Вера... Верушка! К чему все эти слова? Неужели вы не понимаете... — он встал с кресла и сделал несколько шагов к окну. Затем резко повернулся и медленно подошел ко мне. — Ведь она явилась на премьеру лишь потому, что хотела загладить свою вину...

Понадобилось какое-то время, чтобы до меня дошел смысл его слов. "Хотела загладить свою вину?" А Имре Кальман глубоким, проникновенным голосом продолжал:

— Верушка, неужели вам не понятно? Вы ведь выиграли чикагское сражение!

Я вскочила и бросилась ему на шею.

Сколько раз в тот год я слышала мелодии Кальмана!

"Любовь такая — глупость большая..."

"Нам навек судьбой самой любовь дана..."¹

Как было не поддаться очарованию зажигательного ритма "Komm mit nach Varasdin! (Скорей в мой Вараздин!)"². С кем бы мне ни приходилось встречаться в Европе и за океаном, каждый помнил начальные слова этой арии из оперетты "Марица". Однако мало кто знал, существует ли в действительности такой город. Существует! Во времена молодости Имре Кальмана он считался венгерским, а теперь относится к Югославии. Но и поныне многие тысячи людей напевают или насвистывают эту неувядаемую мелодию.

В то время, о котором идет наш рассказ, мы с Кальманом, конечно, не помышляли о поездке в Вараздин. Наши путешествия ограничивались местами, расположенными неподалеку от Вены, прежде всего очаровательным Баденом. Всего двумя годами раньше он превратился в модный курорт, способный принять двадцать тысяч людей.

¹Русский текст Д. Толмачева и В. Михайлова.

²Русский текст Е. Геркена.

Кальман-композитор видел свою основную задачу в том, чтобы показать мне дом № 19 по Ратхаусгассе, где Бетховен создал Девятую симфонию, или дом № 4 на Реннгассе, где Моцарт написал "Ave Verum". В Баден охотно наведывались Шуберт, Иоганн Штраус, Зуппе и Миллёркер — и Имре Кальман повез меня туда вскоре после того, как мне исполнилось семнадцать лет. Я удостоилась почетного титула "спасительницы" за то, что вовремя подхватила Кальмана, когда тот поскользнулся на главной площади городка, у памятника жертвам эпидемии чумы. Эту мелочь он запомнил навсегда. Уж такой он был человек: невероятно много сделал для меня в жизни, он не упускал случая воспользоваться любым поводом, дабы выразить свою признательность мне.

О том, как мы жили в те блаженные времена, можно составить представление по письму Кальмана моей матери. Несмотря на сорок шесть лет за плечами, любовь застала Имре Кальмана врасплох и в полной растерянности. Будучи уверен в собственных чувствах, он не смел верить чувствам другого человека и терзался по таким поводам, которые нельзя было принимать всерьез:

"Верушка пожелала принадлежать мне — возможно, из любви, возможно, из уважения, но, может быть, всему причиной инстинкт самосохранения, подсказавший ей, что узы дружбы бывают не столь прочны, сколь узы любви. Ее склонность ко мне, с одной стороны, сделала меня очень счастливым, с другой — крайне напугала. Я был счастлив, ведь я любил ее. И в то же время пришел в ужас, ибо никогда в жизни я столь глубоко не вторгся в судьбу ближнего. А сама мысль о том, что, в сущности, я ничем не отличаюсь от множества других мужчин, вождедеющих ее, повергла меня в отчаяние".

Насколько легкомысленно и игриво звучит в оперетте мелодия "Поедем в Вараздин", настолько серьезным человеком и глубоким меланхоликом был в жизни ее автор...

Когда я в результате хронического недоедания и обитания в нетопленной комнате подхватила катар верхушек легких, Кальман страшно перепугался и тотчас же потащил меня к врачу. Об этом эпизоде он сообщал моей матери так: "Ей проделали обследование, и мне хотелось бы на несколько недель, а то и месяцев отправить ее в санаторий, чтобы она могла полностью излечиться от болезни. И чтобы забыла меня..." Кальман не преминул обосновать эту свою мысль: "Уж очень велика между нами разница в возрасте..."

Возраст Имре Кальмана в ту пору приближался к пятидесяти, я же еще была почти девчонкой. Во всяком случае, так чувствовал он сам и потому решил устраниться с моего пути. Он был слишком серьезным человеком, чтобы витать в грезах подобно героям собственных оперетт. Однако оказался способен на такие же благородные, самоотверженные порывы, как Мистер Икс из "Принцессы цирка" или Тасило из "Марицы". Любой из этих героев мог бы произнести те слова, какие сказал мне Кальман:

— Собственно говоря, в личной жизни мне всегда не везло. Я продолжаю свой прежний путь — жизненный путь одинокого человека...

1882 — 1907. ГОДЫ ЮНОСТИ, БЕДНОСТИ;
С БЕРЕГОВ БАЛАТОНА ДО БУДАПЕШТА

“Илушка, Розика...”

Дом Кальманов днем и ночью был заполнен детским смехом, плачем, гомоном. Автор “Марицы” серенадой в честь дня рождения увековечил память трех своих сестер: Розики, Милики и Илонки. В первые годы жизни он наверняка не чувствовал себя одиноким. Ведь к тому времени, как Имре появился на свет (в 1882 году), в семье было уже двое детей: Бела и Вильма.

Где он родился, нам известно точно: в Шиофоке, курортном местечке на берегу Балатона, крупнейшего озера Венгрии и одного из крупнейших в мире.

Сомнительна — а по мнению некоторых исследователей, и доньне не установлена — точная дата его рождения. Теперь это и нельзя установить с точностью. Несомненно одно: члены семьи, акушерка и соседки собрались вокруг постели роженицы вечером 24 октября, а волнующее событие свершилось ровно в полночь. Один из дядюшек новорожденного, проявивший среди всеобщей суматохи наибольшее самообладание и взглянувший на часы, определил, что уже наступило 25 октября. Однако если верить часам отца семейства господина Кальмана, то до полуночного часа оставалась еще одна минута. И поскольку за отцом сохраняется неоспоримое право верить собственным часам, днем рождения маленького Имре было признано 24 октября.

Родители его были счастливы в браке; отсюда и задушевные отношения Имре с отцом и матерью, отсюда и тесная спаянность братьев и сестер.

В первые десять лет жизни Имре семья не знала забот. Отец его был добропорядочным буржуа, жили они хоть и небогато, но вполне прилично, держали прислугу и кухарку, к голосу господина Кальмана прислушивались в местной управе. Именно в его доме в середине 1880-х годов было создано акционерное общество, поставившее своей целью развитие Шиофока. Члены общества планировали развернуть крупное строительство, а вскоре и взялись за дело.

По соседству с домом Кальмана был выстроен летний театр, позднее завершилось строительство ипподрома.

Четырехлетний Имре поклонялся "храму искусств", выросшему по соседству. Если он находился не в театре, то, значит, его можно было найти дома, в музыкальной комнате. Забившись под рояль, он слушал, как разыгрывала музыкальные экзерсисы его сестра Вильма. Старшие дети — Вильма и Бела — явно обладали музыкальными способностями. В 1886 году Вильма разучила Вторую венгерскую рапсодию Листа. Маленький Имре столь основательно усвоил это произведение великого венгерского композитора, что мог напеть его по памяти.

Тем летом в доме Кальманов жил концертмейстер будапештской Оперы и филармонии профессор Лидль. Почтенный господин, часами простаивавший со своей скрипкой перед нотным пупитром, произвел огромное впечатление на Имре; мальчуган без усталости наблюдал за музыкантом через окошко.

— Ступай прочь! — сердито прогонял его маэстро и, увидев, что мальчик снова прокрадывается к своему наблюдательному посту, пожаловался наконец на него отцу.

— Что поделаешь, мальчонка так любит музыку! — вступился за сына господин Кальман.

— Помилуйте, да он слишком мал, чтобы разбираться в музыке!

— Хотите верьте, хотите нет, но ребенок может пропеть от начала до конца всю Вторую рапсодию Листа.

Господин профессор, разумеется, не поверил, и тогда хозяин дома, несколько задетый в своих отцовских чувствах, представил доказательства. К счастью, мальчику в те годы еще не был знаком страх перед публикой.

С того момента Имре уже не было нужды подслушивать под окном, ему было позволено находиться в комнате, пока профессор упражнялся. А после занятий их частенько видели вместе: старый скрипач прогуливался по бульвару, а следом за ним, стараясь не отставать, шел малыш Кальман. По большей части они гуляли молча, поскольку и без слов понимали друг друга.

В ту пору юный певец рапсодий вовсе не помышлял о карьере музыканта. Он мечтал стать портным. В шестилетнем возрасте Имре изменил свои планы: теперь он вознамерился осчастливить соотечественников не новыми платьями, а отстаиванием их юридических прав. Имре решил принять

пост министра юстиции. Позднее его стали привлекать более практические профессии: можно, к примеру, заняться предпринимательской деятельностью и сразу выйти в фабриканты. Вскоре он преподнес отцу сюрприз, заявив, что отныне самолично будет поставлять ему чернила. В качестве исходного сырья Имре намеревался использовать плоды дикого винограда, обвивавшего дом. Этот проект не снискал понимания, и он ухватился за идею шелковичного промысла, высадив с этой целью на капустные листья всевозможных червей и гусениц. Правда, вскоре он охладел и к этой затее — отчасти потому, что эксперимент не принес никаких результатов, а отчасти из-за вспыхнувшей страсти к чтению.

Между делом Имре испробовал свои силы и в качестве "maître de plaisir"¹, организовав детский бал. Об руку с девочкой вдвое старше он самолично открыл танцы. Последствия этого шага оказались незабываемы, рана в его сердце так и не зажила. Юная пара запуталась в оборках и шлейфе одеяния партнерши и закружилась уже не в танце, а в падении. Факт остается фактом: подобно королю вальса Иоганну Штраусу, Кальман, не считая этого случая, никогда в жизни не танцевал. И — точно так же, как то было с Иоганном Штраусом, — его подруга жизни не могла примириться с этим.

Однако одиноким Имре не был, просто он слишком трагически воспринимал мелкие житейские неприятности.

Ему шел всего лишь седьмой год, когда он впервые почувствовал, что бывают события, доставляющие взрослым огорчения даже в тех случаях, если не имеют отношения к их личной жизни. Все соседи были расстроены, узнав, что далеко от Шиюфока, в охотничьем замке под Веной, двое людей совершили самоубийство. Всеобщие помыслы были прикованы к тому дню, когда кронпринц Рудольф и семнадцатилетняя баронесса Вечера сошлись на роковое свидание в Майерлинге. По взволнованной реакции взрослых маленький Имре понял, что одна из крупнейших загадок истории так и осталась неразрешенной. Впоследствии — гораздо позднее — Кальман в одном из очаровательнейших своих произведений предложил собственное толкование майерлингских событий.

Семь лет спустя Имре Кальман воочию увидел родителей

¹Распорядитель и устроитель увеселений (франц.).

погибшего столь странной смертью принца. На празднование тысячелетия Венгрии в Будапешт пожаловал император Австрии и король Венгрии Франц Иосиф со своей супругой Елизаветой.

В тот год, когда Имре вместе с многотысячными толпами горожан торчал на улицах столицы, чтобы увидеть императорскую чету и пышную придворную свиту, весь мир трепетал перед военной угрозой. Абиссинцы всем на удивление сокрушили итальянскую армию, германский кайзер Вильгельм II послал приветственную телеграмму предводителю буров Крюгеру по случаю отражения им английского нападения, в результате чего и без того прохладные отношения между Германией и Англией вылились в открытую вражду. Некий польский писатель по фамилии Сенкевич написал всколыхнувший умы роман "Камо грядеши". Прогресс науки и техники принес неслыханные результаты. Маузер изобрел автоматический пистолет, сформировалось молодежное туристское движение "Перелетные птицы", Аббе сконструировал призматический телескоп, был открыт витамин С.

Имре Кальмана занимали другие проблемы. Однако до этого — увы! — никому не было дела.

Имре испытал настоящее счастье, когда один из школьных товарищей пригласил его погостить в семейной усадьбе. О такой жизни в доме Кальманов и не помышляли: дальние прогулки по окрестностям, игры на воле, сельские торжества с участием множества гостей. В середине октября предстояло вернуться в город. "Жаль, — говорил Имре. — Я бы с таким удовольствием остался, но ведь дома ждут".

В тот же день он получил от родителей письмо, из которого выяснилось, что дома его вовсе не ждут.

В зрелые годы друзья и знакомые за глаза называли Имре Кальмана угрюмым медведем: ему никогда не удавалось окончательно расслабиться даже среди друзей, ибо он не умел смеяться от души. Веселиться он разучился в далеком детстве, когда гостеприимству "сердобольных" помещиков настал конец. Строки письма расплывались от пролитых над ним материнских слез. Мать с горечью сообщала Имре, что нет ему больше пристанища в родном шиофокском доме, и просила его пробыть еще несколько дней в поместье. За это время она успеет списаться с тетей Гизи в Будапеште, чтобы та приютила Имре у себя.

— Могу я остаться у вас еще дня на два? — с таким вопро-

сом обратился подавленный горем мальчик к матери своего приятеля.

— Сожалею, но уже сегодня мы ждем нового гостя.

— Я не могу уехать домой! Папа разорен, и мы вынуждены продать дом. В Шиофоке мне просто некуда деться.

— Тогда поезжай прямо в Будапешт. Поезд довезет. — Голос хозяйки звучал непреклонно, и для Имре рухнул весь прежний мир.

Лишь позднее он узнал подробности: один из членов общества по развитию Шиофока небрежно обращался с казной. Взыскать ущерб с виновного не удалось, так как тот оказался неимущим, и судебные исполнители отыгрались на других — на тех людях, кто из самых добрых побуждений поставил свою подпись на документах. В первую очередь пострадал отец Имре: господин Кальман поручился за дело, предоставив в качестве гарантии все свое имущество. Разумеется, он и в мыслях не держал, что тем самым отдает в залог и дом, и лавку. Семье Кальман пришлось расстаться со всем, что они имели: с мебелью, столовым серебром, постельным бельем, книгами. Они покинули свой дом с пустыми руками. С помощью родственников им удалось найти пристанище в крохотной квартирке в Будапеште, но детей пришлось раздать дядям и теткам.

Судебные исполнители сменяли в доме друг друга, следя, чтобы при описи, не дай бог, не был упущен хоть какой-нибудь предмет. Появлялись они всегда неожиданно, невзначай, и испуганная служанка при виде чиновников с охапкой бумаг всполошенно кричала: "Опять эти писатели явились!" С тех пор слово "писатель" стало в доме Кальманов нелюбимым.

Однако семья не сдавалась.

Отец, правда, был совершенно сломлен, зато старший сын Бела предпринял решительный шаг. Он отправился в банк, прибравший к рукам и дом, и торговое дело Кальманов, и решительно заявил:

— Теперь все наше имущество принадлежит вам, вы вольны распоряжаться нашей судьбой. И, несмотря на это, я готов служить вам. Обязуюсь работать не за страх, а за совесть.

Управляющему пришлось по душе эта искренность, и он не колеблясь предложил юноше тотчас приступить к службе.

Таким образом Бела стал зарабатывать для семьи средства

на самые необходимые нужды. Имре, который до этого обучался в дорогостоящей и привилегированной евангелической гимназии, вынужден был довольствоваться дешевой школой на окраине города — не в последнюю очередь потому, что школа эта находилась поблизости от скромного жилья тети Гизи. После столь плачевно завершившегося отдыха Имре на последние деньги, которых хватило лишь на проезд в вагоне третьего класса, отправился напрямик к тете Гизи, дрожа от страха не застать тетку дома и очутиться на улице. Но тетя Гизи встретила его с распростертыми объятиями.

— Все знаю, мама твоя мне написала. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. — В семье Кальман действительно сильно было чувство родственной солидарности.

Поначалу Имре не слишком много времени проводил в своей крохотной каморке, приходя туда лишь ночевать. Днем он репетиторствовал, а по вечерам помогал отцу надписывать адреса на конвертах и сдавал письма на почту. Работа эта выполнялась для одного крупного магазина: за две тысячи надписанных конвертов платили по две кроны. Вся семья сплотилась перед лицом обрушившегося на нее несчастья.

По дороге в школу Имре проходил мимо рынка. Денег у него не было, а фрукты высились соблазнительными горками, и как-то раз он, проходя, взял с прилавка персик. Торговка заметила это, бросилась вдогонку, выхватила у него из рук персик и размазала спелый плод по лицу мальчика.

— Мерзавец, ворюга, веревка по тебе плачет! — орала она.

Четырнадцатилетний "мерзавец" стоял как вкопанный, обратив к торговке перепачканное липкой мякотью лицо. Женщина несказанно удивилась, видя, что мальчишка не делает попыток защититься или убежать. Она бросила на землю раздавленный персик и, сердито ворча, ушла за прилавок. Имре Кальман до смертного часа помнил эту сцену. В событиях той поры и коренятся истоки его непроходящей грусти и сдержанного отношения к людям и жизненным явлениям. Он и сам считал, что те годы внутренней подавленности, печали и слез — в первую очередь слез материнских — явились причиной того, что он не способен легко и от души смеяться.

Именно в этот период у него зародилось желание стать музыкантом. Передать звуками свои горе и радость — эта

внезапно вспыхнувшая страсть не давала ему покоя. Прежде, когда рояль в доме был привычной деталью обихода, Имре мог сколько угодно играть для собственной радости и увеселения. Теперь же о рояле и мечтать не приходилось. А как прожить без этой мечты!

Об одном из мальчиков в школе поговаривали, будто бы тот сочиняет музыку. Имре постарался с ним подружиться. Композитор из его приятеля оказался никудышный, зато хвостун первостепенный. Он часто похвалялся перед Имре своим близким знакомством с зарубежными дирижерами и солистами.

— Не желаешь ли пойти в концерт? Будет исполняться симфония Берлиоза "Гарольд в Италии". Я достану тебе контрамарку.

Конечно, никакой контрамарки Имре он не дал, ему самому с трудом удалось заполучить входной билет на стоячее место. Имре остался ни с чем, но ему не привыкать было к разочарованиям. Надежды услышать симфонию он все же не терял. Потоптавшись у входа, он незаметно прошмыгнул в фойе и приник ухом к замочной скважине: музыка из зала доносилась так явственно и четко, будто слушатель находился в зале. Мощные, чистые звуки оркестра заставили Имре позабыть обо всех неприятностях. Одно-единственное желание владело им: проникнуть в этот волшебный мир звуков.

Теперь ему захотелось узнать все о музыке и музыкантах. А поскольку он обладал трезвым мышлением, то вскоре нашел дешевый и доступный выход: коричневые брошюрки издательства "Реклам", которые можно было приобрести у букинистов буквально за гроши. Начал он с биографии Роберта Шумана.

Иногда Имре удавалось и поупражняться в игре. Одна из теток разрешила ему пользоваться своим роялем, и Имре ухватился за эту возможность. Он бредил музыкой, и однокашники прозвали его Фугой. Имре гордился своим прозвищем.

Вскоре для семьи Кальман настали лучшие времена. С осени 1897 года в доме перестали появляться "писатели". Отец более-менее оправился от потрясения. Зарабатывал он не так уж много, но на прожитие семье хватало и даже удавалось держать прислугу. Однако о том, чтобы перебраться с

окраины города поближе к центру, и помышлять не приходилось. И вот в один прекрасный день отец отозвал Имре в сторонку.

— Скажи, сынок, нет ли у тебя желания переночевать в шикарной гостинице?

Господин Кальман в ту пору служил представителем различных фирм, и один из клиентов пригласил его на длительные деловые переговоры. Отец с сыном на извозчике подкатили к гостинице "Хунгария".

— Значит, так, сынок, — сказал господин Кальман, — сейчас пять часов. Мы с тобой спустимся в кафе, а потом принимайся за уроки. Завтра у нас будет обычный трудовой день, отсюда нам придется уйти пораньше. Вот тебе две кроны, купи себе конфет.

Имре поблагодарил отца, какое-то время побыл с ним в кафе, а затем поднялся в гостиничный номер. На стене он обнаружил три кнопки звонка. Над верхней был изображен официант в изящном фраке. Имре не долго думая нажал кнопку, через несколько минут явился официант во фраке и предупредительно осведомился, чем он может услужить молодому господину.

"Молодой господин", естественно, не знал, на какие услуги может рассчитывать.

— Я по желанию клиентов подаю в номера еду и питье.

— Ну, если так, подайте и мне выпить и перекусить...

Через полчаса официант вкатил столик, ломящийся от яств и бутылок. Встав позади Имре, он обслужил его по всем правилам: подал французскую закуску, суп, жаркое с гарниром и салатом, а под конец десерт. Была откупорена бутылка токайского, и Имре пил, сколько влезет. Ему вдруг сделалось легко-легко, словно с грешной земли он воспарил в небеса.

— Благодарю, — сыто сказал он. Официант удалился следом за своим столиком.

Имре ощущал не только легкость в теле, но и некую дерзость в душе. Он нажал вторую кнопку, против которой была изображена молодая, стройная девушка в коротенькой юбочке и белом переднике с метелкой из перьев в руках. И вскоре появилась очаровательная молоденькая горничная с тем же вопросом: чем она может услужить молодому господину.

— А что вы умеете делать? — поинтересовался Имре, у которого слегка плыло перед глазами.

— Могу постелить постель, — сказала девушка и тотчас же подтвердила свои слова. — Где ваша ночная сорочка или пижама?

— Понятия не имею, — ответил юный господин и плюхнулся на край постели. — Я так странно чувствую себя, со мной творится что-то непонятное. Неужели это от вина?.. Идите сюда, барышня, посидите со мной немножко. Отец придет поздно...

Девушка села рядом.

— Да вы опьянели, — сочувственно констатировала она. — Сколько же вам годков-то будет?

Сама девушка была не намного старше. Ее забавляла ситуация, юный постоялец показался симпатичным, так что она побыла с ним какое-то время. Когда она ушла, Имре, сидя на постели, силился понять, отчего это вдруг мир сделался так прекрасен. На всякий случай он нажал третью кнопку, под которой был изображен человек с ботинками в руках. Войдя в номер, коридорный поинтересовался, чем может служить. Молодой барин, плавая как в тумане, спросил, что тот умеет делать, после чего лакей терпеливо объяснил, что почистит ему костюм и ботинки. Прodelав означенную процедуру, он удалился, пожелав гостю доброй ночи.

Имре уснул. Сквозь сон он слышал, как отец за полночь вернулся с переговоров, шепотом спросил, спит ли он, но сын даже не пошевелился.

— Ну как, — поинтересовался отец на следующее утро, — приятно ты провел вечер?

Имре утвердительно кивнул. Поднявшись в шесть часов, он наскоро умылся, оделся.

— Тебе можно бы и еще чуть поспать.

— Папа, — начал Имре, — вечер я провел очень приятно... Но ты мне вот что скажи: если заказать наверх еду и питье, то за это не надо отдельно платить?

— Конечно, надо. Ведь в стоимость номера это не входит.

— Кто же теперь должен платить?!

— Ах, вот оно что! — Господин Кальман быстро смекнул, в чем дело. — Пусть у тебя об этом голова не болит, за все мой клиент расплатится. Надеюсь, ты тут не слишком разгулялся?

Имре молчком собрал свои вещи и отправился прямо в школу.

На следующий день, наведавшись к родителям, он застал

там своего деда. Старик души не чаял во внуке, и Имре платил ему такой же любовью.

— Дедушка, послушай... — Имре шепотом рассказал ему про свои приключения накануне вечером. — Наверное, я поступил дурно?

Старый Кальман — в ту пору ему было уже за восемьдесят — так и покатился со смеху. Качая головой, он обнял внука.

— Имрушка, — заговорщицки подмигнув мальчику, сказал он, — отчего же ты не прихватил домой те три кнопки?

Имре был сражен, прочтя рассказ Шумана о том, как ему пришлось распрощаться с игрой на фортепиано из-за повреждения пальца. А вдруг и с ним, Кальманом, произойдет то же самое?.. Эта мысль тяготила и преследовала его как кошмар.

Имре исполнилось пятнадцать лет, когда весной 1898 года он впервые выступил перед публикой с Фантазией Моцарта ре-минор. В концертном зале присутствовали и корреспонденты, дабы в своих критических отчетах подвергнуть оценке способности юного музыканта. Имре выглядел столь маленьким и шуплым (ростом он никогда не мог похвастаться, а в ту пору на нем к тому же явно сказывались результаты всяческих житейских невзгод и недоедания), что газеты восторженно отметили дарование "двенадцатилетнего вундеркинда".

Корнель Абраньи, патриарх венгерской пианистики и один из любимых учеников Листа, после концерта подозвал к себе Имре. Музыкальная одаренность и вдохновенная игра юного пианиста до такой степени растрогали старика, что он прослезился, прижав Кальмана к груди. Школьные товарищи преподнесли Имре луковый венок: в этом шутовском даре был и намек на признание его таланта.

Имре принял венок как дань поклонения. Вручил его родителям, прося употребить по хозяйству. "Лавровый венок за мной", — иронически улыбаясь, промолвил он.

Вскоре родители Кальмана перебрались на другую, более просторную квартиру, где нашлось место и для Имре. Те деньги, что он зарабатывал репетиторством, теперь не было нужды отдавать в семью, и юноша за короткое время сколотил кругленькую сумму — 500 крон. Мечта его осуществилась: можно было купить рояль. Когда инструмент привезли

домой, сестры, высунувшись из окна, восторженно приветствовали Имре, а мать встретила сына на пороге и нежно обняла.

Имре усиленно занимался в двух школах — в гимназии и в музыкальной школе, — но, едва улучив свободный часок, тотчас же садился к роялю разучивать сочинения Шумана и Шопена. Музыка завораживала, пьянила его. Во время летних каникул его чуть ли не силком приходилось оттащить от рояля и усаживать за обеденный стол. К концу каникул руки у Имре разболелись до такой степени, что каждый удар по клавишам доставлял ему невероятные мучения. Поначалу он, удваивая усилия, пытался преодолеть мышечную боль, но, когда это не помогло, испугался всерьез. Вновь извлек биографию Шумана и перечитал все, что было известно о болезни композитора.

Врачи прописали Имре ванны, массаж, мази и всевозможные пилюли. Все свои заработки он отдавал теперь не учителю музыки, а лекарям. В течение года пытался он противостать злему року, но затем волей-неволей вынужден был смириться. "Я так и не научился толком играть", — говаривал он впоследствии, хотя искусством фортепианной игры владел мастерски. Музыкальных занятий Имре не оставил, просто из класса фортепиано перешел на отделение композиции. В последние годы учения ему приходилось трудиться с двойной нагрузкой, отдавая преимущество гимназии: родителям хотелось, чтобы сын непременно получил аттестат зрелости. Имре выполнил это родительское желание, блестяще сдав все экзамены.

Однако лишь теперь началась для него поистине двойная жизнь. Подчинившись родительской воле, он поступил на юридический факультет Будапештского университета, проучился там восемь семестров, сдал все необходимые экзамены и не дотянул лишь до степени бакалавра. Но и это было большим достижением, если учесть, что параллельно он с полной нагрузкой учился в Академии музыки. Занятия музыкой требовали столько времени и сил, что о написании диссертации и думать не приходилось.

Семья поощряла его занятия юриспруденцией, давая деньги на карманные расходы. Суммы были не бог весть какие, но Имре этого хватало. А для того, чтобы учиться музыке, он должен был сам изыскивать материальные возможности. Играть на рояле он не мог — подвели руки, зато писать мог да и умел: еще в гимназическую пору он опубликовал музыковедческую статью.

Имре присмотрел себе подходящий источник: "Пешти Наplo" — ежедневная газета, выпускаемая большим тиражом. Идея напрашивалась сама, поскольку редакция газеты находилась как раз напротив кафе, завсегдаем которого был Кальман. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Имре счел за благо обратиться к наиболее компетентному лицу — к главному редактору.

Редактор ведущей газеты повидал на своем веку всяких корреспондентов, однако он менее всего мог заподозрить будущего автора в щуплом девятнадцатилетнем юноше, которому на вид нельзя было дать и семнадцати. Вероятно, посчитав его совсем мальчишкой, редактор по-отечески снисходительно осведомился:

— Что у тебя, сынок?

— Видите ли... я написал статью, и ее даже опубликовали. Сейчас я, правда, еще учусь, однако хотел бы сотрудничать в вашей газете.

— Ишь, чего захотел! Ну, и где же ты учишься?

— Изучаю юриспруденцию и музыку.

— Этого хватило бы и на двоих таких сопляков, как ты. Ступай-ка ты, брат, домой и зубри параграфы законов.

— Нет! — упрямо стоял на своем Кальман. — Я желаю стать журналистом. Я хочу писать, и вы не имеете права так обращаться со мною.

— Ну и новости! Он мне указывать вздумал! — Главный редактор резко поднялся с места. — И о чем же ты хочешь писать?

— Критические статьи. Я ведь объяснил вам, что учусь в Академии музыки.

— Будь по-твоему! — изрек редактор несколько ироническим тоном, однако взгляд его был исполнен доброжелательности. — Можешь приступать к работе хоть сейчас. Беру тебя практикантом. Получишь кое-какие карманные деньги, ну и все служебные расходы мы, конечно, возместим. Договорились? — Взяв Имре под руку, он увлек его за собой. — О статьях пока что думать забудь, сперва тебе надо осмотреться. Походишь в театры, концерты, на выставки и попробуешь писать репортажи. Если у тебя дело пойдет, то корреспонденции твои напечатаем. А сейчас идем, я тебя представлю будущим коллегам по отделу.

Господин Кальман-старший был не в восторге от такого поворота событий. Да и преподаватели Академии музыки косо смотрели на студента, который пописывает в газету. Так

что Имре Кальман после короткого, но счастливого периода журналистской практики был вынужден расстаться с газетой, а вскоре и учению его пришел конец. Прежде всего он сдал экзамены по юриспруденции, однако время от времени продолжал наведываться в редакцию, а иногда по вечерам играл там в карты со старшими коллегами. С завершением учебы кончилась для Имре жизнь на два лагеря, и последующая его карьера развивалась с переменным успехом.

Кальман стал помощником адвоката в конторе парламентского депутата Шамуэля Бакони. Вскоре он забрал все бразды правления в свои руки: его патрон занимался политикой и большую часть времени проводил в парламенте. Помощнику только и оставалось присматривать за тем, чтобы контора не простаивала без дела. Впрочем, процессуальные бумаги интересовали его куда меньше, чем композиция; он изо всех сил трудился над симфонией, намереваясь с ее помощью покорить мир. Еще до завершения симфонии Кальман опубликовал цикл песен на стихи Людвиг Якубовски, тонкого лирика, с которым Имре не так давно познакомился в Берлине.

Якубовски тоже занимался журналистикой: редактировал в Мюнхене журнал "Гезельшафт" ("Общество") — орган приверженцев новых музыкальных течений, раннего натурализма и импрессионизма. Прожил он неполных 32 года. По своим гуманитарным устремлениям Якубовски напоминал Лессинга; перу его принадлежат два романа "Иудей Вертер" и "Локи", где выведен тип восторженного, эмоционально богатого человека, еврея по национальности, который не борется с антисемитизмом, но с фанатичной одержимостью пытается "докопаться до основ юдофобии". Лирика Людвиг Якубовски привлекала Кальмана своей простотой, близостью к народной песне и пессимизмом, столь свойственным самому Имре.

Цикл на стихи Людвиг Якубовски (1902) — первое изданное музыкальное сочинение Имре Кальмана — как нельзя лучше передает сокровенные переживания композитора: его печаль, тревогу, неутоленные желания, иные из песен являют собой поистине крик души, но в большинстве своем это классические элегии.

За первой работой последовали несколько фортепианных сочинений и скерцандо для струнного оркестра, задуманные автором как ступени к главному произведению, с которым он связывал все свои надежды, — "Сатурналиям", поэме для

большого симфонического оркестра. Однако в день первого исполнения поэмы Имре Кальман не только шагнул к мировой славе, но и приобрел неизлечимую болезнь — суеврие.

29 февраля 1904 года состоялось первое исполнение симфонии Имре Кальмана — в будапештском Королевском оперном театре, на концерте выпускников композиторского отделения Академии музыки. Впрочем, первое исполнение стало и последним. Все же Кальман считал именно этот день началом своей музыкальной карьеры. С тех пор он свято верил, будто високосные годы сулят ему удачу, а уж 29 февраля — день особого благополучия.

— Отныне ты уже не ученик, — такими словами напутствовал Кальмана добродушный бородач профессор Кёслер. Кальман получил и стипендию, давшую ему возможность принять участие в байрейтских торжественных представлениях.

Адвокатская карьера Кальмана завершилась несколько иначе.

— Вот что, Кальман, просмотрите-ка эти документы. Не исключено, что вам придется вместо меня обосновывать необходимость забастовки железнодорожников. Я, как вам известно, должен быть в парламенте. Надеюсь освободиться вовремя, но если я все же не успею... Вы ведь не хуже меня знаете наши судебные порядки: в случае чего разнесите правительство в пух и прах, вот и вся недолга, — распорядился адвокат Бакони и отбыл из конторы.

Изучить дело Кальман, конечно же, не успел, времени оставалось в обрез. И в суде, дожидаясь разбирательства, он молил бога лишь об одном: чтобы патрон подоспел к сроку. Однако господина Бакони не было и в помине. Дошел черед до их дела, а чуда так и не произошло. Пришлось Кальману самому произносить речь. Впоследствии он так описывал этот эпизод:

— Я выдал из себя несколько беспомощных фраз. Помнится, взывал к справедливости, поминал правительство, которому все равно не войти в бедственное положение моих подзащитных. Затем я с отчаянием оглянулся по сторонам и в самый критический момент умолк.

Судьи, свидетели и собравшаяся в зале публика затаив дыхание ждали, что юный адвокат, собравшись с духом,

наконец обрушит гром и молнии на головы правителей, но не тут-то было. Несчастный Кальман, окончательно покоровшись судьбе, медленно опустился на стул. Немного погодя председательствующий нарушил похоронную тишину, изложив суть дела, как это надлежало сделать защитнику. Об адвокате, согласно собственноручной записи Кальмана, он отозвался уничижительно.

— Никогда еще в сем зале не было произнесено столь смехотворной защитительной речи, какую мы только что услышали из уст нашего юного коллеги.

Когда негодующий судья дошел до клеймящих слов "стыд и позор", Кальман не выдержал: весь багровый от унижения, он убежал из зала прочь, так и не узнав, относились ли эти гневные слова к зачинщикам стачки или к их адвокату, провалившему свою роль.

Господин Бакони не принял эту неудачу близко к сердцу.

Судя по всему, он чувствовал, что его помощником движут совсем иные силы и устремления, и, вероятно, верил в его музыкальное дарование, иначе вряд ли согласился бы удовлетворить его странную просьбу. А Имре Кальман попросил патрона немедленно уволить его со службы, но не говорить об этом отцу. Кальман-старший, едва оправившийся после собственного краха, пожалуй, не пережил бы удара, узнай он, что даже способнейший из всех его отпрысков потерпел столь позорное поражение. Господин Бакони, будучи опытным политиком, отнесся к просьбе с пониманием, пообещав, что, если кто-либо из родственников Кальмана, не дай бог, обратится с расспросами, он, адвокат, подтвердит, что Имре по-прежнему служит у него, а сейчас просто отлучился по делам.

Имре Кальман опять зажил двойной жизнью, с той только разницей, что по утрам он уходил не в адвокатскую контору, а в редакцию. Его встретили там с распростертыми объятиями и предложили должность музыкального критика с жалованием 70 крон в месяц. Столь же великодушно ему был предоставлен отпуск, а поскольку стипендия уже лежала в кармане, то летом 1904 года Имре Кальман отбыл в Байреит, чтобы послушать там два оперных спектакля, а затем продолжил свое путешествие — в Мюнхен, к дирижеру Артуру Никишу.

К тому времени прошло уже более десяти лет после гастролей Никиша в Будапеште, где он дирижировал "Валь-

кирией". На Имре Кальмана исполнение оперы Вагнера произвело необычайное впечатление. Трепет, в который повергали его тогда герои оперы и сценический антураж, теперь уже поутих, но одно сохранилось в памяти неизгладимо: образ волшебника, стоявшего за дирижерским пультом.

Никиш встретил юного поклонника музыки словно давнего знакомого. Пригласил венгерского гостя в гостиницу "Яресцайтен", не пожалев терпения, прочел партитуры всех его сочинений, с похвалой отозвался о симфонии "Сатурналии", а затем в свойственной ему грубоватой манере спросил:

— Как бишь тебя зовут, сынок?

Имре счел, что выдающемуся дирижеру легче будет запомнить его имя, если он произнесет его на немецкий лад.

— Эммерих Кальман, — ответил он, и тем самым зародилось имя, которому суждено было облететь весь мир. Впрочем, в тот момент ни один из собеседников и не подозревал этого.

— Оркестр — альфа и омега всей музыки, — провозглашал Никиш. — Ты должен досконально изучить возможности оркестра.

В Опере давали "Мейстерзингеров". Никиш ставил стул в оркестровую яму — то около группы медных духовых, то поближе к музыкантам, игравшим на деревянных духовых инструментах, — каждый вечер в новое место, и всякий раз Имре мог слушать оперу оттуда, где зарождается музыка.

На следующий год Кальман удостоился премии Роберта Фолькмана, присужденной ему будапештской Академией музыки. Фолькман, скончавшийся в 1883 году, был предшественником Кёслера на ниве преподавания. Материальные размеры премии позволяли провести шесть недель в Берлине. Имре воспользовался этой возможностью, чтобы предложить свои сочинения немецким издательствам; вслед за "Сатурналиями" им была создана очередная симфоническая поэма — "Эндре и Иоганна". Однако издателя для этих опусов не нашлось ни в Берлине, ни в Лейпциге, ни в Мюнхене, куда заехал Кальман по пути на родину.

— Выходит, мои симфонии не нужны миру? Дело кончится тем, что я решусь на отчаянный шаг: возьму да и сочиню оперетту! — с досадой острил Имре, возвратясь в свою будапештскую редакцию. Коллеги громко смеялись, и больше

всех веселился сам Имре. Опуститься до оперетты! Обладатель премии Роберта Фолькмана, достойный ученик профессора Кёслера, он глубоко презирал сей легкомысленный жанр. Всякий раз, вступая под своды малого зала Академии, он погружался в атмосферу возвышенных творений Шумана, обожаемого им Ференца Листа. Профессор Кёслер — опытейший педагог и тонкий психолог — занимался со своими учениками в той комнате, где когда-то обитал Лист, позволяя им играть на рояле, клавиш которого касались пальцы маэстро.

Янош, а точнее, Ханс Кёслер, был немцем по происхождению (он родился в Вальдеке, в горах Фихтель) и доводился двоюродным братом Максу Регеру¹. В ту пору, когда у него учился Кальман, Кёслеру перевалило за пятьдесят. Добросердечный человек, он был выдающимся педагогом и страстным музыкантом, а его умение распознавать истинные таланты всегда оказывалось безошибочным. Все крупнейшие венгерские музыканты прошли у него профессиональную выучку. Предшественник Кёслера — Фолькман — тоже был немцем, уроженцем Саксонии. Фолькман знал самого Роберта Шумана и стремился не только донести до учеников его наследие во время занятий, но и продолжить традиции композитора в собственных фортепианных сочинениях.

Среди питомцев Кёслера Имре держался скромно, не выделяясь. Юные сторонники радикальных преобразований в музыке активно заявляли о своих пристрастиях, а он прислушивался к каждому новому голосу, поддаваясь очарованию любого оригинального звучания.

Один из учеников Кёслера — чуть постарше Имре — раз в неделю приходил к Кальманам, давал в их доме уроки одной молодой девушке. Его отличало своеобычное, блистательное фортепианное мастерство. Кёслер заметно отличал его среди остальных учеников.

— Что ты собираешься делать до трех? — спросил у него как-то раз Кальман: в три часа начинался урок.

— Где-нибудь пообедаю.

— Но ты мог бы пообедать и у нас.

— Спасибо, с удовольствием.

С той поры молодой Бела Барток, вскоре ставший прославленным композитором Венгрии, раз в неделю обе-

¹Регер Макс (1873 — 1916) — немецкий композитор, органист, пианист, дирижер и педагог.

дал у Кальманов. Иногда перед началом занятий он играл Имре и его сестрам свои произведения.

Во время каникул Барток, вооружившись фонографом, обходил села, собирая и записывая народные песни. Он родился в Надьсентмиклоше — деревушке, ранее находившейся на территории Венгрии, а затем отошедшей к Румынии. В тех краях, на стыке границ, люди еще помнили древние венгерские, румынские и секейские мелодии. Барток уже в студенческие годы заложил основы своего собрания народных песен; позднее он распространил свою изыскательскую деятельность на весь бассейн Дуная, а затем во многих других странах собрал турецкие, арабские и прочие народные мелодии.

Для произведений Бартока характерны отвлеченная чистота и строгий, линейный стиль, а для него самого — пунктуальность и абсолютная надежность. В странствиях за сокровищами народной музыки Бартока сопровождал его коллега по Академии музыки Золтан Кодай. В один и тот же год, в 1907-й, оба они стали преподавателями Академии, и слава о них вскоре прогремела на весь мир. Правда, Барток впоследствии эмигрировал в Америку, в то время как Кодай при всех сменах политического режима оставался в Венгрии. И все же их имена всегда упоминают рядом. Барток считается крупнейшим композитором Венгрии XX века. После его смерти (в 1945 году, в Нью-Йорке) этот титул, естественно, перешел к Кодаяу, создателю несравненного "Венгерского псалма".

— Итак, сегодня вечером в Королевском театре!.. — с такими словами прощался Имре Кальман — разумеется, не с Белой Бартоком (кстати, этот серьезный композитор написал и оперу — "Замок герцога Синяя Борода"), а с прочими своими приятелями и соучениками. Обаяние профессора Кёслера притягивало к нему людей самых разных: веселых и серьезных, романтиков и тех, кто был склонен к драматизму. Все они слыли страстными поклонниками театра, к тому же в их жилах кипела молодая, бурная кровь, а стало быть, они любили веселое пение, кабаре и оперетту. В Будапеште той поры оперетты ставились в трех театрах: Королевском, Венгерском и Народном. Имре Кальман и круг его друзей, обучавшихся у Кёслера композиции, во главе с одаренным, светски остроумным Виктором Якоби

и превосходным пианистом Альбертом Сирмаи не скрывали своего поклонения легкой музыке. По вечерам в фойе Королевского театра они встречались с либреттистами и режиссерами. Директор театра Ласло Бэти по окончании вечернего спектакля, прихватив эту компанию, отправлялся в кафе, где к ним присоединялась группа писателей и журналистов, возглавляемая новым блистательным сотрудником "Пешти Наplo" Ференцем Мольнаром¹. Молодой — всего четырьмя годами старше Кальмана, — широко образованный, умный, обладающий острым чувством юмора, Мольнар был душой общества. Неизменный монокль в глазу, густые пряди волос, зачесанные над гладким лбом вправо, — этот светский человек в двадцать с лишним лет уже имел в газете собственную рубрику, а несколько лет спустя прославился на родине и за рубежом как драматург. Таким образом, Имре Кальман, музыкант из близкого окружения Кёслера и сотрудник "Пешти Наplo", откуда бы он ни возвращался вечером: из Академии музыки или из редакции, — непременно оказывался в этой веселой, жизнерадостной компании.

Мольнар читал стихи, экспромтом сочинял рассказы и сценки, Якоби и Сирмаи исполняли свои новые музыкальные сочинения, лилось вино, лились речи. Лишь Имре Кальман — будущий автор ярких, зажигательных мелодий — тихо сидел среди друзей. Ни темпераментному Якоби, ни язвительному Мольнару не удавалось заставить его продемонстрировать свои творения. Кальман молча потягивал вино и был счастлив, что может провести вечер в такой приятной компании.

Страдал ли он тогда от одиночества, чувствуя, что не способен вести непринужденную беседу или пускаться в словесные баталии?

Кальман сочинил двадцать грустных, напоминающих баллады песен и за этот труд был удостоен премии имени Франца Иосифа. Он сочинил еще и музыку к пьесе "Наследство Переслени", где воспевалась слава Венгрии, но, на его беду, как раз в тот момент, когда театр готовил премьеру, правительству удалось столкнуться с венским двором, так что мелодии в народном духе пришлось некстати. Пьеса была снята. Затем Кальман написал еще две симфонические поэмы для оркестра и смешанного хора. Они принесли композитору

¹ М о л ь н а р Ференц (1878 — 1952) — венгерский писатель, публицист и драматург.

известность, но не успех. Впрочем, он сам понимал, в чем беда.

— Я не могу работать дома. Да это и невозможно...

Дома докучали любопытные сестры, отвлекали будничные заботы, мешала квартирная теснота. Заработок в редакции был, правда, не ахти какой, и все же этих денег вполне могло хватить на самостоятельное житье. Находчивый и практичный Якоби подал другу добрый совет.

— За комнату, конечно, заломят бешеные деньги. Но ведь можно снять ее на паях с кем-нибудь.

— И я должен буду жить с посторонним человеком?

— Я знаю одного либреттиста, который согласился бы пользоваться комнатой три раза в неделю. Тебе остаются три полных дня, а воскресенья вы могли бы как-то чередовать.

— Пожалуй, годится, — согласился Имре. — Он что-нибудь сочиняет для тебя, этот либреттист?

— Сочиняет? — удивленно засмеялся Якоби. — Работать он и дома может, квартира у него достаточно большая. А комната ему нужна совсем для другого: человек он женатый и жаждет развлечений на стороне. Накапливает, видишь ли, впечатления, говорит, что без этого, мол, и творить не может.

— Час от часу не легче! Выходит, я должен сочинять музыку в доме свиданий? — Имре не находил слов от возмущения.

— Да полно тебе, что ты так разбушевался? Главное, он добавит тебе недостающую сумму. И ведь может статься, что комната будет принадлежать тебе четыре, а то и пять дней в неделю.

Вступив в соглашение с либреттистом, Имре через три недели имел возможность сказать:

— Мне и на один-то день не удастся вырвать комнату. Твой либреттист заглатывает женщин, как черешню.

Однако, когда наступал его черед, Кальман усердно выписывал нотные знаки, выполняя кое-какие мелкие заказы. Оказалось, что на таких пустяках можно построить большую карьеру.

— Послушайте, господин Кальман, — как-то мимоходом обратился к нему музыкальный издатель. — Есть у меня текст куплетов, и я объявляю конкурс на музыку к ним. Отчего бы и вам не принять участие? Ведь речь идет о сорока кронах, ну, а затем я, конечно, приобрету эту работу для издательства.

”В горничных у Шари Федак я служу”, – звучал припев, напоминая о популярнейшей будапештской шансонетке тех времен. Кальмана радовало, что он способен сочинять и легкую музыку, да к тому же с истинной легкостью. Тут сходились во мнении и авторы текстов, и издатели, довольные работой Кальмана. Конкурс даже не пришлось объявлять, куплеты на музыку Имре Кальмана пользовались шумным успехом. Шари Федак была в таком восторге, что выступила с этим номером в кабаре, изображая собственную горничную и держа на поводке свою таксу Буби.

Вскоре еще одна написанная Кальманом песенка принесла ему столь же ошеломляющий успех.

– Отчего бы тебе не сочинить какую-нибудь крупную пьесу для сцены? – уговаривали его приятели. – Но это, конечно, должна быть не патриотическая драма, а оперетта!

Должно быть, идея витала в воздухе. Иоганн Штраус и Миллёркер — великие пестователи жанра — почти десять лет покоились в могилах. И вдруг оперетта возродилась вновь. В далеком Берлине служить ей вызвался некто Пауль Линке, в Вене — Оскар Штраус. Его оперетту "Грезы" уже ставили в Будапеште. А Вена танцевала под мелодии Ференца Легара и Лео Фалля. Еще вчера имена этих композиторов (по странному совпадению оба они — сыновья военных капельмейстеров) были никому не известны, а сегодня их оперетты — ныне вошедшие в классику "Веселая вдова" и "Принцесса долларов" — принесли им мировую славу. Несколько месяцев назад Имре Кальман смеялся над идеей сочинения оперетты, теперь же загорелся ею всерьез. В тех краях, где он вырос, ноги с детства привыкали отплясывать чардаш. Ритм чардаша был у Кальмана, можно сказать, в крови, он подсказывал композитору ритмы его мелодий. Даже сюжет будущей оперетты вырисовывался, дело было лишь за либретто. В Будапеште работали неплохие либреттисты, но все они оказались заняты. Один писал для Сирмаи, другой — для Якоби, друзей Кальмана. А вот третий...

Третий — однофамилец того адвоката, служба у которого некогда кончилась для Имре столь бесславно, — Карой Бакони, как раз расстался со своим композитором. Одно из их совместных произведений ("Витязь Янош") снискало небывалый успех, следующее провалилось, и, конечно же, в неудаче каждый винил другого.

— Ладно, я тебя сведу с Бакони, — посулил неутомимый Якоби.

Первое свидание состоялось в кафе Бергера — излюбленном месте встреч всех деятелей оперетты. Я опишу ее так, как рассказывал о ней сам Имре.

Бакони поинтересовался, какой сюжет привлекает композитора. Кальман тотчас же с воодушевлением начал расписывать веселую и романтическую атмосферу военных маневров. "Вас, господин Бакони, как отставного офицера и генеральс-

кого сына, эта тема наверняка привлечет...” Однако Бакони считал более перспективным замысел какого-то другого композитора и прямо сказал об этом Кальману:

— Сожалею, но искусство всегда сворачивает в ту сторону, где ему сулят пропитание... — и добавил несколько стереотипных фраз, какие произносятся в тех случаях, когда человек желает уклониться от невыгодного предложения.

Имре, вернувшись из мира своих феерических грез, принялся уговаривать Бакони. Он даже утверждал, что тот, в сущности, дал обещание, но вскоре Кальман исчерпал все логические доводы. Они шли по улице, Бакони явно искал удобного предлога распрощаться, а Имре в отчаянии пытался растолковать, чем привлекла его идея сюжета с маневрами. Как-то раз он обмолвился своему приятелю, что маневры с их воинственным грохотом ужасны и каким счастьем, должно быть, кажется возвращение после них в стены привычного кафе, но приятель прервал его: “Помилуй, ты и представить себе не можешь, как это прекрасно — вечерами сидеть у костра...” — и красочно описал ему романтическую обстановку этих вечеров под усеянным звездами небосводом и всю прелесть глубокой, необъятной тишины...

— Постой! — воскликнул вдруг Бакони. Рассказ Кальмана явно захватил его. — Да это же великолепная идея! На этом я построю текст. Значит, так: через два месяца либретто будет готово.

И действительно, через четыре недели Бакони принес либретто первого акта, а еще через месяц был готов остальной текст.

Имре снял дешевую комнату на чердаке в Кройсбахе под Грацем, чтобы работать без помех. Там-то и сочинил он свою первую оперетту “Осенние маневры”. Для начала предложил ее Ласло Бэти, директору Королевского театра, но тот отмахнулся: он только что включил в репертуар “Грезы”. Вот разве что потом...

Тогда Кальман попытался воззвать к изысканному вкусу “Вигсинхаза” — театра комедии.

— Оперетта? Вообще-то это не наш профиль. Оставьте на всякий случай, — скептически отнесся к его предложению директор.

Тон этого господина добил убежденного пессимиста: Кальман сбежал к своей замужней сестре и скрывался у нее три дня. Он был уверен, что оперетта отвергнута. А отказа ему было не снести. Затем, собравшись с духом, он решил

вернуться под родительский кров. Служанка встретила его словами:

– За вами три раза присылали из театра!

Оперетта была принята.

Имре прошел через все испытания, выпадающие на долю сценических авторов, пережил все подходящие случаю радости и горести. Впрочем, огорчений было больше. Примадонна топнула ножкой, так как – вопреки обещанию – в ее партии не оказалось бравурной арии, в которой она могла бы блеснуть своим искусством. Едва успели залатать эту пробоину, как раскапризничались один за другим и остальные исполнители: кому не нравилась музыка, кому – текст. Злые языки пустили слух, будто бы Ласло Бэти, директор конкурирующего театра, прослушав генеральную репетицию, поставил в храме свечку святому Антонию за то, что тот уберег его от постановки пьесы.

Премьера прошла 22 февраля 1908 года – с невероятным успехом. Публика без устали аплодировала, вновь и вновь вызывая исполнителей на сцену. И все же Имре, неисправимому пессимисту, мерещилось, что пьесе скоро снимут с репертуара. Ведь население Будапешта составляло тогда примерно полмиллиона человек. Если каждый житель города посетит спектакль один раз, то пройдет более ста представлений, если же жители венгерской столицы захотят по этому поводу наведаться в "Вигсинхаз" дважды, пьеса выдержит 250 представлений. Ну а что, если жаждой зрелища будут охвачены не все будапештцы, а лишь половина или третья часть населения?

По окончании спектакля Кальман был занят именно такими подсчетами, когда капельдинер, тронув его за плечо, шепнул на ухо: "Пришли какие-то три господина из Вены... Они хотели бы поговорить с вами". "Какие-то" три господина оказались персонами весьма известными: композитор Лео Фалль и директора театра "Ан дер Вин" Вильмош Карцаг и Карл Вальнер. Признанные короли опереточного жанра Карцаг и Вальнер незадолго до этого поставили "Принцессу долларов" Лео Фалля. С тех пор как в Мангейме с колоссальным успехом прошла премьера "Веселого крестьянина", Фалль – наряду с Легаром – утвердился в качестве новой звезды на поприще оперетты. Кроме того, он был обладателем редкого качества: способностью искренне, без зависти признавать успехи других.

– Ваши арии столь же несравненны, – заявил он Кальма-

ну, — как мелодии Штрауса, Легара, ну и, пожалуй, Лео Фалля.

Фалль умел шутить над окружающими, не щадя себя самого. Он знал толк в жизни. К такому убеждению пришел и Кальман, когда в компании своих друзей Якоби и Сирмаи знакомил Фалля с ночной жизнью Будапешта.

— Лео оказался ночной пташкой высокого полета, — рассказывал Имре. — Под утро мы, усталые до смерти, доставили нашего гостя в баню "Хунгария". Он с наслаждением бросился в бассейн, а у нас едва хватило сил дотащить его до дому.

С той поры они подружились. Бескорыстная похвала Фалля послужила Имре поддержкой: Карцаг и Вальнер купили для театра "Ан дер Вин" право на постановку "Осенних маневров". Перевод на немецкий выполнил Роберт Боданцки, спектакль был намечен на сезон 1908/1909 года. Имре помчался в Вену посмотреть оперетту своего новоявленного приятеля. В "Веселом крестьянине" его настолько захватила игра неизвестного молодого актера, что он умолил Карцага поручить тому роль Валлерштейна в "Осенних маневрах".

— Будь по-твоему, — нехотя согласился директор. — Только не проговорись ему, что он тебе так понравился. Иначе он потребует двойное жалованье.

Молодого актера звали Макс Палленберг.

Через несколько недель Имре опять поехал в Вену. Изучив репертуарный план театра, он обнаружил там восемнадцать названий. "Осенние маневры" стояли на третьем месте от конца.

Извечная склонность к пессимизму вновь толкнула Кальмана на подсчеты. Если театр будет ежегодно ставить по четыре новых пьесы, до его оперетты очередь дойдет лишь через три года. Пусть даже премьера в сезоне будет шесть — и тогда ждать придется два года. Раздираемый тревогой и дурными предчувствиями, ворвался он в дирекцию. Карцаг полностью был погружен в подготовку очередной премьеры.

— Сейчас ты мне лучше не мешай, — нервно вскинулся он на Имре.

Кальман совсем затосковал. Ночь принесла не покой, а кошмары. Он метался на гостиничной постели, обливаясь холодным потом. Очнулся он, заслышав энергичный стук в дверь: на пороге стоял Мориц Вессели, курьер театра "Ан дер Вин". "Это был выдающийся театральный курьер всех времен, — рассказывал Имре. — Впоследствии мы стали за-

кадычными друзьями”. В тот момент, конечно, до дружбы пока еще было далеко.

— Меня прислал господин директор, — решительно начал Мориц Вессели. — Он просил передать, чтобы вы немедленно собирались и ехали в Будапешт.

— Что-о? — Имре почудилось, будто все еще длится страшный сон. — Я пробуду в Вене столько, сколько пожелаю. И никто не смеет мне указывать...

Посыльный укоризненно покачал головой.

— Да вы поймите: в Будапешт надо ехать за нотами. Вы должны доставить партитуру “Осенних маневров”. На следующей неделе начнутся репетиции!

Два дня спустя, когда Имре — на сей раз счастливый и окрыленный — собрался вновь покинуть Будапешт, мать сделала попытку удержать его.

— Мамочка, но ведь мою оперетту готовят к постановке! Мне придется побыть там какое-то время, а потом я сразу же вернусь, — старался Имре успокоить мать.

— Ты больше не вернешься, Имрушка, — прошптала мать. И она оказалась права. Душою Имре уже был далеко от Будапешта. В Вене, блистательной столице оперетты, он обрел свой второй дом.

Венцы с любопытством отнеслись к новой оперетте “этого венгра”. Знатки поговаривали, будто это даже не оперетта, а чуть ли не опера. И из уст в уста передавалась история, действительно имевшая место еще в Будапеште и случившаяся перед началом репетиций “Осенних маневров”. Первым взял в руки партитуру, естественно, дирижер “Вигсинхаза” Ласло Кун.

— Где происходит действие? — поинтересовался он. — Ах, на осенних маневрах? А что это, собственно, такое: произведение для симфонического оркестра? Опера?

— Нет-нет, — успокоил его Имре, — это комедия с музыкальными номерами.

Кун добрых полчаса листал партитуру, затем поспешил к Кальману.

— Какая же это комедия с музыкой? Это истинная оперетта!

Четыре дня спустя, изучив партитуру первого акта, дирижер одобрительно похлопал автора по плечу.

— Друг мой, это не оперетта, а подлинная опера!

А еще через неделю, получив великолепный хор из финала третьего действия, Кун, захлебываясь от восторга, заявил:

— О, это не опера! Это — оратория!

Правда, еще до будапештской премьеры хор из пьесы выбросили, и в Вене о нем уже речь не заходила.

21 января 1909 года состоялась премьера в театре "Ан дер Вин". Публика встретила оперетту Кальмана с таким же восторгом, как некогда дирижер Кун. Песня, начинающаяся словами "Das ist mein Freund der Löbl..."¹, стала шлягером года.

В апреле того же сезона оперетта была поставлена в гамбургском театре Вильгельма Бендинера, а несколькими неделями позже состоялась ее премьера в Берлине. В Копенгагене Герман Банг, всемирно известный писатель и критик, подверг оценке спектакль, в котором участвовал сам Имре Кальман в качестве дирижера. В Нью-Йорке (в театре "Никербокер") и в Лондоне (в театре "Адельфи") оперетта была поставлена в 1909 году под названием "Веселые гусары". Затем настал черед Польши и России. В Праге число спектаклей достигло рекордной цифры. На музыкальном небосклоне взошла новая звезда.

Американцы пригласили автора в турне по стране, с тем чтобы он сам дирижировал своим произведением. Организатор турне Генри Вильсон Сзведж, установивший в США рекорд своей серией представлений "Веселой вдовы" Легара, почуял, что запахло кассовым успехом. Он прислал Имре билеты на поезд и пароход, обязался позаботиться о гостиницах. Судя по всему, оперетта должна была совершить триумфальное шествие по Соединенным Штатам.

Однако Имре со страхом отнесся к этой идее, в особенности его пугало морское путешествие. Это роднило Кальмана с Иоганном Штраусом, который даже в вагонном купе предпочел бы путешествовать лежа на полу, лишь бы не видеть мелькающие за окном телеграфные столбы и стволы деревьев: от этого зрелища у него нестерпимо кружилась голова.

Родители тревожились не меньше самого Имре. За ужином — прощальным ужином в теплом семейном кругу перед разлукой на долгие недели, а то и месяцы — отец излил все, что на душе наболело:

¹ "Мой приятель, славный малый..." (нем.)

— Сынок, океан — он огромный, без конца и края. И я все время представляю себе, как сидишь ты один-одинешенек среди этой бескрайней водной пустыни, с неутолимой тоской в сердце, и нет у тебя другого желания, только бы очутиться опять в Будапеште, в твоём любимом городе, и побыть, как сегодня, со своими родными и близкими... Сам посуди, сынок, стоит ли ради этой поездки обрекать себя на такую неслыханную муку?

От этих слов у Имре и вовсе похолодело сердце. Он бросился к мистериу Сэведжу и вручил оторопевшему от неожиданности антрепренеру билеты: он, мол, весьма сожалеет, однако попросту не в состоянии совершить это турне по Америке. Он умрет от тоски по родине.

И Кальман остался в Австрии. Теперь он трудился над новым своим произведением. Бакони написал венгерский текст, а Имре, используя венгерские народные мелодии, сочинил нечто среднее между опереттой и оперой. "Солдат в отпуске" вызвал в Будапеште вежливые аплодисменты, не более. Однако, несмотря на это, венский "Бургтеатр" заказал немецкоязычный вариант: Виктор Леон, крупнейший австрийский либреттист, занялся переработкой текста. Имре и Виктор удалились в Унтернах на берегу Альтерзее, чтобы привести весь материал в порядок. В результате произведение стало вполне отвечать своему новому, более приличествующему названию: "Der gute Kamerad" ("Хороший товарищ"). Премьера состоялась 10 октября 1911 года и была принята публикой вполне благожелательно.

Ровно через год и один день в элегантном "Иоганн Штраустеатре" прошла премьера очередной оперетты Кальмана. Текст ее принадлежал перу двух опытных либреттистов, а действие происходило в той среде, которая была знакома Имре с детства: в Венгрии, на степных просторах. Были тут и сцены из цыганской жизни, и цыганские песни... Имре, верный своей натуре, был настроен пессимистически. На этот раз и один из либреттистов, Фриц Грюнбаум, не в силах был подавить дурные предчувствия.

— Нравится мне вся вещь, определенно нравится, — старался он утешить себя и своего соавтора Юлиуса Вильгельма, — вот только этот вальс... — И он принялся напевать:

Вот заживем	Прочь и сон.
С тобой вдвоем.	Ведь кто влюблен,
Чего еще желать?	Тому все нипочем.
Горе прочь,	Ширь в душе,
Весь день, всю ночь	И в шалаше
Плясать пойдем опять.	Рай свой найдем ¹ .

Грюнбаум обреченно махнул рукой.

— Нет, этот вальс не "прозвучит". Помяните мои слова: публика на это не клюнет...

Премьера новой оперетты Кальмана состоялась 11 октября 1912 года; пресловутый вальс — вопреки всем колебаниям — решено было оставить. На следующий день мелодию эту распевали на каждом углу: успех был подобен взрыву бомбы. Грюнбаум в недоумении пожимал плечами, но теперь вид у него был вовсе не унылый.

— На то она и бомба, что никогда не знаешь, взорвется или нет, — твердил он в свое оправдание.

"Цыган-премьер", о котором идет речь, принес Кальману второй мировой успех. Главную роль в спектакле исполнял Александер Жирарди, популярнейший артист Вены. Теперь перед композитором распахнулись и двери будапештского Королевского театра, когда-то высокомерно отвергнувшего его предложение. В ведущей женской партии выступала любимица публики Шари Федак.

Новинку тотчас же подхватил и американский менеджер Сзведж, изменив название оперетты на "Шари", поскольку именно так зовут главную героиню, своенравную дочку цыгана-преьера. Триумфальное шествие "Шари" по Соединенным Штатам длилось три года.

До начала первой мировой войны Имре сделал еще одну попытку сотрудничества с Бакони. Результат — оперетта "Маленький король" — едва вытянул на вежливые аплодисменты. В поисках "своего" либреттиста Кальман пробовал разных авторов. Постепенно сложились отношения с двумя парами литераторов: Лео Штейном и Белой Йенбахом, а впоследствии с Юлиусом Браммером и Альфредом Грюнвальдом. Творческое содружество Имре с этими либреттистами принесло ему наибольшие успехи.

После выстрела в Сараево поначалу казалось, что театральной жизни пришел конец. Имре подумывал о том, чтобы

¹Перевод С. Алексина.

послужить отчизне в качестве журналиста, военного корреспондента. В свои тридцать два года он, на бывшем тогда этапе развития военных действий, не считался военнообязанным. Впрочем, император и король распорядился вновь открыть театры: нельзя выказывать отчаяние, следует "морально" вооружить как фронт, так и тыл. Каждая пьеса была подвергнута актуальной переработке в патриотическом духе — в том числе и "Солдат в отпуске" Кальмана. 16 октября 1914 года в театре "Ан дер Вин" у Вильгельма Карцага состоялась премьера оперетты, именуемой теперь "Золото я отдал за железо". Вскоре и немецкие театры ухватились за эту вещь, ставшую ныне столь актуальной.



Отчий дом Имре Кальмана в Шиофоке



Имре Кальман IMRE KÁLMÁN



Вера Кальман



Имре и Вера Кальман с сыном



Семейство Кальман



“Осенние маневры” – Юлишка Келети и Дюла Хегедюш (1908)



"Цыган-премьер" – Шари Федак и Маргон Раткаи (1913)

A cigányprimás
Nyáray.



"Цыган-премьер" – Антал Нярай (1913)



“Королева чардаша” – Ханна Хонти, Янош Борветэ и Марика Немет



"Марица" – Ференц Киш и Юци Лабиш (1924)



"Марица" – Юдит Галлаи и Золтан Бенкоци



“Филалка Монмартра” – сцена из III акта



“Дьявольский наездник” – Мартон Раткаи



“Королева чардаш” – Ханна Хонти и Жужа Петреш



"Королева чардаша" – Ханна Хонти и Ласло Чоканчи



Вера Кальман возлагает венок к памятнику Имре Кальману в Шиофоке

В начале войны Имре работал одновременно над двумя произведениями: легкой, веселой "Барышней Жужей" и над другой опереттой, которой либреттисты пока что дали условное название "Да здравствует любовь!". Текст "Барышни Жужи" был написан двумя венграми; премьера ее состоялась в Будапеште 23 февраля 1915 года и была встречена публикой довольно прохладно. Однако переименованная в "Мисс Весну", она вскоре покорила сердца американцев.

Текст оперетты, прославляющей любовь, вышел из-под пера Лео Штейна (он был одним из авторов "Веселой вдовы") и Белы Йенбаха. Штейн считался почетным патриархом либреттистов, и работа с опытным мастером такого крупного масштаба действовала на Имре умиротворяюще. Однако стоило ему узнать дату премьеры, как от его душевного спокойствия не осталось и следа.

— О боже, только не тринадцатого!

Но "Иоганн Штраус-театр", несмотря на все протесты Имре, назначил премьеру именно на тринадцатое число. Вот уже более года бушевала война, черные тучи сгустились и над страной, и над сугубо личным мирком Имре. Для работы над опереттой он удалился в Ишль, на виллу "Роза". Ребенком здесь гостил император Франц Иосиф, а впоследствии, привлекаемые красотой природы и уединенностью, сюда из самых разных уголков света наведывались композиторы, чтобы творить без помех. На вилле "Роза" Мейербер написал свою оперу "Пророк", здесь же работали Иоганнес Брамс и выдающийся скрипач Йозеф Йоахим. Ференц Легар, обязанный вилле "Роза" созданием своего "Графа Люксембурга", порекомендовал Имре этот тихий дом, словно сошедший со страниц сказки о Спящей красавице. И вот теперь оперетте, столь счастливо рожденной на вилле "Роза", грозит гибель из-за 13-го числа! Полный дурных предчувствий, Имре поспешил в Вену.

Все билеты на премьеру были распроданы. И все же представление не состоялось: комический актер Йозеф Кёниг потерял голос, и спектакль в последний момент отменили.

Имре не успокоило и назначение новой даты. Он был твердо убежден, что оперетта с треском провалится: переносить премьеру — дурная примета. Хотя новое число выглядело вполне благопристойно — 17 ноября.

Однако последующие факты опровергли все пессимистические предположения Имре. Вэну захлестнул поток мелодий:

”Красотки, красотки, красотки кабаре,
Вы созданы лишь для развлечения.
Изящны, беспечны красотки кабаре,
Для вас непонятны любви мученья.
Красотки, красотки, красотки кабаре
Пленяют сердца лишь на мгновенье.
Сегодня всех затмит одна,
А завтра в тень уйдет она...
И мы уже от новой в упоенье”.

”Без женщин жить нельзя на свете, нет!..
В них солнце мая, в них любви расцвет.
Тут легкий флирт, признание там,
Как солнца луч приятны нам”.

”Жить с тобою, милый мой, будем мы вдвоем,
Словно ласточки весной в гнездышке своем.
Но, смотри, коль раз солжешь, то всему конец.
Знай, чужды обман и ложь дружбе двух сердец”.

”О, счастья не ищи ты в высоте небесной,
Оно перед тобой блестит красой чудесной.
Ни слава, ни почет нам дать не могут счастья,
Лишь там оно живет, где сердце бьется страстью”.

” Частица черта в нас, в сияньи женских глаз.
И наш коварный взгляд в душе рождает ад.
Любви желанный час влечет к нам вечно всех вас,
Что же, недаром сам черт придумал нас”.

”Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось!
Лишь для тебя сердце пылало любя.
Помнишь ли ты, как ты со мною рассталась?
Помнишь ли ты наши мечты?..”

”Коль влюбились ты да я, мы грустить не будем.
Вместе выпьем ты да я и печаль забудем”.

”Нам навек судьбой самой любовь дана.
Как маяк, сквозь мрак ночной вела она.
Боль прошла, и даль светла, ясна, чиста...
Ах! Счастья час настал для нас, сбылась мечта!”¹

Премьера ”Королевы чардаша” состоялась в самый разгар войны, но ни фронтовые окопы, ни пушечная канонада не помешали оперетте проникнуть и в Россию, и в Америку. Разумеется, ни композитор, ни авторы текста Бела Йенбах и Лео Штейн от этого не разбогатели: Россия уже воевала с Австрией, да и Соединенные Штаты вскоре тоже вступили в войну.

Заокеанские поклонники Имре сделали попытку вызволить его из зоны военных действий. По просьбе антрепренера Сзведжа вашингтонское правительство изъявило готовность переправить Имре за океан. Однако Кальман не стал даже обдумывать это предложение: слишком много несчастий обрушилось на него сразу. Глубоко потрясла его смерть старшего брата Белы, а тут и отец свалился: диабет не сулит ни малейшей надежды на выздоровление — таков был врачебный приговор. Подруга Кальмана Паула Дворжак (она была старше Имре на десять лет) в начале войны потеряла родителей и сама стала жертвой неизлечимой болезни, до конца дней приковавшей ее к инвалидной коляске.

Как известно, лучшее средство от тоски — работа. Чудо и на сей раз не заставило себя ждать: исписывая одну за другой нотные строки, Имре забывал обо всем на свете. Именно в этот период он создал самые яркие, зажигательные свои мелодии. Одна из оперетт той поры — ”Фея карнавала”, — в сущности, является переработанным вариантом ”Барышни Жужи”; либреттистами здесь выступили А. М. Вильнер и Рудольф Эстеррайхер. Премьера оперетты состоялась 21 сентября 1917 года в ”Иоганн Штраус-театре”. Угля не хватало, и холод в зрительном зале был чудовищный, но это не мешало спектаклю пройти при полном аншлаге. Эстеррайхер навсегда остался верным другом семьи Кальман. Он был в числе первых, кто с любовью приветствовал Имре,

¹Русский текст Д. Толмачева и В. Михайлова.

когда тот после второй мировой войны возвратился в Австрию.

В Берлине Фею карнавала пела Фрици Массари, пока не покинула Германию. В немецкой столице оперетта выдержала более шестисот представлений.

Гром пушек смолк, и на людей обрушилась инфляция. Деньги буквально таяли в руках. Имре испытал это на себе в тот момент, когда ему, казалось, улыбнулась удача. У него хранился лотерейный билет австрийского Красного Креста, на который выпал выигрыш 200 тысяч крон. Разумеется, крона значительно упала в цене по сравнению с довоенным уровнем, и все же это была приличная сумма. Имре с его привычкой постоянно думать о семье тщательно распределил свой выигрыш между сестрами, кузинами, кузенами и племянниками. Те из родственников, кто были порасторопнее, тотчас же поспешили в ближайший магазин и скупили все что только можно. Имре же все раздумывал, как ему распорядиться своей мизерной долей. Наконец он отправился по магазинам, но вынужден был констатировать, что тысячные банкноты составляют лишь часть довоенных крейцеров. В конце концов на свой выигрыш он приобрел три флакона жидкости для волос; двумя днями позже на эти деньги уже можно было бы купить лишь один флакон, а через две недели — и вовсе ничего. Такая участь постигла и тех осчастливленных родственников, кто счел за благо поместить деньги в банк.

Имре Кальман вновь — а точнее говоря, как всегда — был занят поисками подходящего либретто. Два молодых автора, Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд, принесли текст для первого акта оперетты: некий управляющий имением мечтает отпраздновать день своего рождения в Вене... Штейн и Йенбах, либреттисты "Королевы чардаша", в противовес им предложили другой материал, и Имре отдал предпочтение этой испытанной паре. Так была создана "Голландочка", тепло принятая публикой "Иоганн Штраус-театра" 31 января 1920 года.

А после серьезного успеха — "Голландочка" выдержала в Вене более 450 представлений — Браммер и Грюнвальд дерзнули опять наведаться к Кальману все с тем же предложением: некий управляющий имением мечтает отпраздновать свой день рождения в Вене, среди очаровательных женщин...

— Нет, не пойдет! — Имре жаждал какого-нибудь небанального сюжета.

— А как бы вы отнеслись к экзотической теме? Оперетту можно было бы назвать, скажем, "Баядера"... — предложил Браммер, и Имре сразу же понравилась эта идея. А прежний замысел, теперь уже двухгодичной давности, вновь осел в архивах Браммера и Грюнвальда. Венский "Карл-театр" поставил "Баядеру", принесшую кассовый успех, но не снискавшую мировой славы.

Неугомонные либреттисты на этом не успокоились и вновь извлекли на свет божий свою древнюю, отсроченную еще на год идею: некий управляющий крупным поместьем... Имре решил познакомиться с материалом поближе и увлекся. Никогда не работал он с такой легкостью. В результате оперетта получилась слишком длинной и перенасыщенной музыкальными номерами.

Главную партию пел Губерт Маришка, он же был и постановщиком спектакля. Маришка принял руководство театром "Ан дер Вин" после своего тестя Вильгельма Карцага — того самого, который когда-то перетащил Имре Кальмана в Вену.

— Давай уберем вступительный хор, — предложил Маришка.

— Еще чего выдумал! — рассердился Имре. — Уж лучше выкинуть твою выходную арию.

— Что ж, ладно, — натянуто улыбнулся Маришка. — Но прежде еще раз прослушаем и хор, и сольную арию.

Хор грянул вступление и, допев до конца, умолк, а Маришка начал свою партию:

"Grüß' mir die Süsen, die reizenden Frauen
im schönen Wien!
Grüß' mir die Augen, die lachenden blauen,
im schönen Wien!
Grüß' mir die Donau, und Grüß' mir den Walzer
im schönen Wien!
Grüß' mir die heimlichen Gässchen, wo Pärchen
des Abends heimwärts ziehn!
Grüß' mir mein singendes, klingendes Märchen,
mein Wien, mein Wien, mein Wien!"

(Передай от меня привет любимым, прекрасным женщинам, их смеющимся голубым глазам — там, в прекрасной

Вене! Привет от меня Дунаю и вальсу — там, в прекрасной Вене! Привет тихим улицам, где по вечерам парочки торопятся домой! Передай мой привет дивной сказке из песен и музыки — Вене, моей Вене!)¹

Закончив, Маришка сделал знак оркестру — повторить — и, обращаясь к Кальману, вновь запел арию, на ходу переиначивая текст. В своей импровизации он, адресуясь к Имре, просил не выбрасывать из оперетты великолепный гимн в честь прекрасных венских женщин, их смеющихся голубых глаз... и так далее. В результате хор "выпал", а выходная ария осталась и поныне звучит так же свежо и живо, как в день премьеры 28 февраля 1924 года. 1924 — год високосный, то есть, по убеждению Имре, счастливый. Мировой успех "Графини Марицы" лишь укрепил эту его убежденность.

Как и солиста-тенора, публику и критику покорили в оперетте еще и дуэты. Благодаря этому сразу же выдвинулись на первый план молодая Бетти Фишер (в амплуа субретки) и ее партнер-комик Макс Гансен, тоже молодой актер.

— Как-то брел я по венским улицам в прескверном настроении, — рассказывал впоследствии Имре, — а в кафе меня ждали друзья. Дорóгой в голове у меня крутилась какая-то мелодия. Придя в кафе, я насвистывал ее. Грюнвальд тут же поклялся, что ей обеспечен мировой успех, и не сходя с места сочинил текст: "Kommt mit nach Varasdin..." Я-то сам, будучи композитором, никогда не могу судить, за какой именно из моих музыкальных идей увяжется успех.

Однако фортуна не отворачивалась от Кальмана. Успехом пользовалась "Принцесса цирка" (1926) с ее знаменитой арией о чарующих очах. Успех принесла и оперетта "Золотой

¹ Русский текст либретто Е. Геркена:

"О, Будапешта сады и бульвары,
Забуду ль вас?
Песни студентов под звуки гитары
В полночный час...
Помню я тихие волны Дуная,
Курантов бой.
В старых кварталах огни догорают,
Спадает летний зной...
Можно ли жить, о тебе не скучая,
Мой Пешт, мой Пешт родной?!"

рассвет” (1927), написанная Кальманом по просьбе нью-йоркского антрепренера Хаммерштейна. Успешной оказалась также ”Герцогиня из Чикаго” (1928).

Примерно в это время в жизнь Имре вошла я – или это он вошел в мою жизнь? Хотя разница в возрасте между нами составляла тридцать лет, эта встреча для нас обоих означала новый этап жизни.

Прожитый мною на свете срок невелик был даже в пересчете на месяцы. Зато он оказался крайне насыщенным событиями, жизненными испытаниями, встречами с разными людьми на том долгом пути, который из далекой Сибири через Стокгольм и Берлин привел меня в Вену. Мать вместе со мной выслали из Петербурга: царский двор неодобрительно отнесся к ее роману с молодым офицером-аристократом. Отец мой погиб в последние дни войны, и мать, забрав меня, бежала на запад. В то время, о котором идет речь, то есть в 1928 году, она пребывала в Бухаресте, надеясь там выйти замуж, а я осела в Вене.

Об Имре Кальмане тоже никак не скажешь, что его жизненный путь был сплошь усыпан розами. К концу войны он потерял горячо любимого брата Белу. Отец умер от диабета. Большую роль в его жизни сыграли две женщины. Первой стала Паула Дворжак, родом из Зальцбурга. Она долгое время тяжело болела; Имре, понимая, что она уже никогда не вылечится, не покинул ее, а, напротив, оставался самоотверженно предан ей вплоть до самой ее кончины. Второй была красавица графиня Агнес Эстерхази, послужившая прототипом жгуче-темпераментной Королевы чардаша. С нею Имре распрощался в тот вечер, когда состоялась премьера "Герцогини из Чикаго".

Нас с Имре в ту пору связывала лишь дружба. От других я узнала, что Кальман нежно любит графиню, которая завязала интрижку с неким кинопродюсером. Графиня явилась на премьеру оперетты. У меня в спектакле была малюсенькая роль, а графиня Эстерхази уже считалась признанной звездой. В тот вечер она попыталась объясниться с Имре, говорила о своей любви, молила простить ей мимолетное увлечение... Однако Имре проявил твердость: "Нет, — сказал он. — Я познакомился с одной девушкой, она так же красива, как ты, только десятью годами моложе. Я люблю ее. Но мне приятно, что ты пришла сегодня..."

Семья Кальман всячески пыталась уговорить его жениться на Агнес Эстерхази. Но Имре настоял на своем:

— Поздно. Я полюбил другую. Она еще совсем ребенок, и между нами ничего нет. Но мне очень хорошо с нею.

Имре был серьезный, мрачноватый и вспльчивый, как и положено истинному венгру, а я со всем оптимизмом юности видела мир в розовом свете... Я и впрямь была наивной девчонкой, и однажды Имре вынужден был открыть мне глаза на реальности жизни. На свидания я всегда приходила с подружкой — Ниной Карачонь, дочерью венгерского графа. Нина сбежала из дому, желая сделать карьеру. Это ей удалось, хотя, как увидит читатель, путь, на который она ступила, был довольно опасен. Нину зачислили в труппу театра "Ан дер Вин", и мы вместе выступали в "Герцогине из Чикаго". Поскольку она тоже была венгеркой, Имре старался облегчить ей продвижение, ну а я, куда бы мы с Имре ни шли, повсюду тащила ее за собой. Ведь она, в конце концов, так же бедствовала, как и я. Но вот однажды Имре отозвал меня в стонку:

— Верушка, зачем вы всегда приводите с собой Нину? Неужели вы не видите, что она хочет отбить меня у вас?

С той поры я перестала приглашать Нину на встречи с Имре, но приносила ей что-нибудь съестное. Затем события Нининой судьбы и карьеры закрутились с отчаянной стремительностью. Она подписала контракт с "Бургтеатром" и в "Пер Гюнте" Ибсена танцевала рядом с Анитрой в том самом танце, которым девушки во главе с Анитрой в шатре марокканского шейха тешат Пер Гюнта, приняв его за прорицателя. Возможно, причиной послужила сладострастная восточная музыка, в особенности лейтмотив, пронизанный любовным томлением, — во всяком случае, однажды вечером находившийся в ложе театра магараджа из Капура, увидев выступление Нины, тотчас же влюбился в нее. Он пригласил ее в Индию, и Нина отправилась туда в сопровождении своей матери, старушки няни и доктора. Магараджа честь по чести попросил руки Нины, и она вышла за него замуж. На этом история не кончилась, а, напротив, только началась. Но продолжение ее относится к более позднему периоду.

Какой-то беспокойный, можно сказать, взрывной выдался тот 1928 год. И не только для Имре, который в оперетту "Герцогиня из Чикаго" попытался внести новую, американскую струю.

В Америке некий тридцатилетний композитор стремился возвысить джаз до уровня серьезной симфонической музыки. Звали его Джордж Гершвин. Имре частенько упоминал это имя, но тогда я не знала, что оно для него значит. Так много всего происходило в те дни!

В Вене всеобщее внимание привлек журнал Карла Крауса "Ди Факель", издатель которого не боялся ни бога, ни черта. В Германии же пальму первенства держал журнал Карла фон Осецкого "Ди Вельтбюне" ("Мировая арена")¹. Широко обсуждался пакт Келлога² — раздавались голоса и "за", и "против", — и сначала пятнадцать, а затем более пятидесяти государств высказались в осуждение войны. К тому времени Чан Кайши утвердил в Китае националистическую диктатуру, а Польша Пилсудского и Италия Муссолини также взяли курс на национализм. Как отклик протеста против этих политических событий появилась "Трехгрошовая опера" Б. Брехта и К. Вейля и усилился поток антивоенной литературы. Упомяну в качестве примера "На Западном фронте без перемен" Э. М. Ремарка, "Войну" Людвиг Ренна, "Другую сторону" Р. С. Шериффа. В вихре противоречивых событий Имре склонялся к худшим предположениям, я же, по молодости и беззаботности, по-прежнему взирала на мир сквозь розовые очки, хотя у меня и не было оснований для чрезмерного оптимизма. Но я довольствовалась тем, что выпало на мою долю: любовью Имре Кальмана, золотым браслетом, который он подарил мне на день рождения. Жила я, как и прежде, в той же каморке в пансионе "Централь".

— Сколько весит браслет, подаренный Кальманом? Не тяжело тебе его носить? — подпускали мне шпильки подружки по пансиону, в том числе и Нина.

— Ну что вы! — отмахивалась я. — От браслета, какой бы он ни был тяжелый, я не надорвусь. Вот полкило картошки — другое дело, этого мне, пожалуй, не поднять.

¹Краус Карл (1874–1936) — австрийский писатель, публицист, филолог; в своем журнале полемизировал с буржуазными философскими, политическими и эстетическими идеями; Осецкий Карл фон (1889 — 1938) — немецкий публицист-антифашист, выступавший с разоблачением германского милитаризма. Лауреат Нобелевской премии мира (1936); погиб в концлагере.

²Пакт Бриана — Келлога (Парижский пакт) — пакт об отказе от войны как орудия национальной политики, подписан 27 августа 1928 г. в Париже пятнадцатью государствами. Назван по имени его инициаторов — французского министра иностранных дел А. Бриана и государственного секретаря США Ф. Келлога.

Впрочем, я отнюдь не купалась в роскоши и лишь по сцене знала, что такое богатство. Но ведь и на сцене — к примеру, в "Герцогине из Чикаго" — речь шла лишь о видимости богатства. Главная героиня — дочь миллиардера мисс Мэри Лорд из Чикаго (отсюда и название оперетты), и у нее, конечно же, денег куры не клюют. По сцене прохаживались и другие юные миллиардерши: Долли Астор, Мод Карнеги, Эдит Рокфеллер, Лилиан Форд.

Меня-то, к счастью, жизнь за оборотной стороной кулис, вид усталых, потных рабочих сцены избавили от всяческих иллюзий: у меня не было реального представления о богатстве. Конечно, мне хотелось стать богатой — какой молоденькой девушке этого не хочется! — но я не особенно рвалась к обладанию всеми земными благами, во всяком случае, до встречи с Кальманом. Лишь Имре разбудил в моей душе стремление к иной, более обеспеченной жизни, когда месяца через два после нашего знакомства пригласил меня к себе домой.

Это отнюдь не походило на приглашение какого-нибудь молодого человека, на квартиру к которому приходится пробираться с черного хода. Нет, к Имре Кальману надлежало входить с парадного подъезда, а жил он в аристократическом квартале, на бульваре 12 Ноября, в солидном особняке.

Поначалу я колебалась — не то чтобы испугалась пересудов, просто мною владел какой-то необъяснимый страх. Я знала, что он живет на широкую ногу, что в гостях у него бывают именитые люди вроде Ференца Легара и Оскара Штрауса. Знала также, что он держит целый штат прислуги; с шофером, например, я даже была знакома.

— Нет, — решительно отказалась я. — И дело тут не в соображениях приличия. Просто мне неловко...

Неужели мне не хочется посмотреть, как он живет?

— Конечно, хочется, но...

— Никаких "но". — Имре пресек все мои дальнейшие попытки уклониться от визита.

И я отправилась в гости. Едва я вошла в холл, как сердце у меня бешено заколотилось. Я и не подозревала, что такая роскошь существует в действительности. В фильмах доводилось видеть подобное, но чтобы человек — единственный человек! — жил в таких хоробах... Уже сам холл чего стоил: пол устлан красной ковровой дорожкой, на стенах сверкающие канделябры. Сквозь приотворенные

двери можно было заглянуть в комнаты нижнего этажа. В особенности покорили мое воображение хрустальная люстра в кабинете и лепные украшения вокруг французских окон гостиной. Окон было шесть, и все выходили на бульвар.

— Минуту, — сказала горничная, отворившая мне дверь.

— Можно мне посмотреть эту комнату?

— Еще не хватало, — презрительно усмехнулась она. — У нас не музей. Посидите, пока господин Кальман сойдет вниз.

Появился Имре, и я спросила, не покажет ли он мне свой дом.

— Конечно, Верушка, с удовольствием.

И вся окружающая роскошь вдруг показалась мне не такой отчужденной, а как бы уютной. Имре, взяв меня за руку, провел по комнатам, попутно давая пояснения. Кабинет был украшен ценными гобеленами и великолепными коврами.

— Эти вещи из Обюссона. Там делают знаменитые шпалеры и гобелены.

Имре остановился перед огромным секретером эпохи Марии Терезии и сделал таинственное лицо.

— Верушка, здесь я прячу свой гарем. — Он осторожно приоткрыл крышку секретера, и в нос мне ударил густой сигарный аромат. Сигары громоздились коробка на коробке, шкатулка на шкатулке. Имре брал некоторые из них в руки, раскрывал, разглядывал.

— Часть я купил, другие получил в подарок, вот и собралась целая коллекция.

Каких сигар там только не было: и светлые, и почти черные, некоторые перехвачены изукрашенной золотой полоской. Глаза Имре блестели гордостью коллекционера. Он вынул из секретера одну коробку.

— Эти я выписываю издалека — из самого Гамбурга, они у меня любимые.

Имре много рассказывал мне о Будапеште, Вене и Ишле, где он предпочитал проводить летний отдых. Но за этими любимыми местами сразу же шел Гамбург. Спрашивается, почему? Да потому, что "Осенние маневры" — оперетту, благодаря которой Кальман прославился, — после венской премьеры впервые поставили за границей именно в Гамбурге. Имре бережно водрузил на место заветную коробку и замкнул свою сокровищницу.

Я вообще не курила, а в сигарах уж и вовсе ничего не смыслила. Слыхом не слыхивала о сигарах "корона" (Имре предпочитал их всем остальным) или "торпеда", о всевозможных листьях и разных табачных начинках. Рассеянно, вполуха я выслушала его восторженные излияния, а затем, поскольку стояла как раз у письменного стола, спросила у Имре, что он хранит там. Он подмигнул мне совсем как мальчишка и выдвинул верхний ящик, чуть ли не доверху заполненный огрызками карандашей.

— Они все поисписались, потому что им пришлось как следует потрудиться. Этими карандашами я написал "Королеву чардаша", "Марицу" и другие свои оперетты.

Ни один из рабочих карандашей не был выброшен, Имре хранил их как реликвии. Но из всех вещей, которые он в тот раз показал, больше всего мне понравились скульптурные фигурки собак-такс. Было их превеликое множество — стеклянные, медные, золотые, — и попадались они повсюду. Имре очень любил эту породу, и в доме всегда жила такса — как правило, гладкошерстная, веселая, своенравная, но преданная хозяину сука.

Незабываемое впечатление произвели на меня комнаты, которые Имре продемонстрировал напоследок: спальня и гардеробная. В интерьере обоих помещений преобладали три цвета: голубой, кремово-желтый и золотой. Я залюбовалась кроватью с балдахином из настоящих кружев.

— В точности так была обставлена спальня императрицы Жозефины. — Имре на одном из художественных аукционов приобрел точную копию императорской спальни. Ванная комната была облицована голубым мрамором.

— Кто спит в этой постели, кто пользуется этой ванной?

— Никто. Пока что никто.

"Герцогиня из Чикаго" хотя и имела успех, однако же не выдержала такого количества представлений, как "Марица". Оперетта была снята с репертуара, и на том моя сценическая карьера оборвалась.

Пришла весна. Яркое светило солнце, небо сияло голубизной. Имре вскинул глаза к небу:

— Верушка, поедем на Ривьеру!

Имре только что начал работу над новой опереттой — "Фиалка Монмартра" ("Оперетта в твою честь", — говорил он) — и решил на несколько дней покинуть Вену. Мы отпра-

вились на машине через Зальцбург, Райхенхаль, Южную Германию и Швейцарию до Ниццы. Оттуда мы мимо озера Кома и города Больцано проследовали в Венецию. Имре вел путевой дневник, занося туда все свои впечатления: где были, что видели, что вкусного ели, что интересного с нами приключилось. Вот женеvская запись: "Верушка в русском храме". Запись, сделанная в Шамони: "Верушка — мытье головы, посещение парикмахера". Я бы не стала хранить подобные заметки даже в течение месяца, а Имре берег их всю жизнь. Правда, Венецию я буду до конца своих дней помнить и безо всяких дневниковых записей. По сей день вижу перед собою кафе на площади Святого Марка, вижу, как мы прогуливаемся по площади, заполненной голубями. В таком виде я и запечатлена на фотографии — среди массы голубей. Затем я в одиночку осмотрела Дворец дожей, Имре прежде видел восхитительные фрески Веронезе, полотна Тинторетто, "Мост вздохов". Жара стояла невероятная, и Имре предпочитал отсиживаться в кафе. Когда мы в очередной раз прогуливались с ним по площади Святого Марка, я сказала ему:

— Имре, мы уже почти год вместе. Не могу же я всю жизнь ходить в твоих подругах.

Рано или поздно я должна была это сказать. Отчего же именно в Венеции?.. Господи, но ведь наше сказочное путешествие близилось к концу!

— Ты и сам понимаешь, что мне пора думать о замужестве, — добавила я, и в тот момент мои слова звучали как пожелание, а не как ультиматум.

Но Кальмана словно обухом по голове ударили. Ведь он днем и ночью был поглощен своей работой. Так было и во время нашего путешествия — даже в те часы, когда мы поднимались на перевал Юнгфрау и когда осматривали скалу, на которой Вильгельм Телль подкарауливал Геслера. Прогуливались ли мы по улицам Женевы, отдыхали ли в Ницце, он вдруг выхватывал блокнот и записывал такты мелодии, которая в это время рождалась в его голове. И при этом не замечал, что рядом с ним находится юное существо со своим внутренним миром, со своей жизнью. Да и хорошо, что не замечал, иначе он не был бы Имре Кальманом.

И вот тем жарким днем в Венеции я заставила его взглянуть в лицо реальности. Он почувствовал себя несчастным. Засыпал меня вопросами: уж не обидел ли он меня, может,

я недовольна нашим путешествием или он как-то не так вел себя.

— Видишь ли, — начала я было и запнулась, сама не зная, как объяснить ему ситуацию. — ...ты и я... нам перебивают косточки. Вообще-то меня это не волнует, но приходится думать и о будущем: судьба забросила меня на чужбину, и родных у меня, кроме матери, нет никого.

— Давай вернемся к этому разговору в Вене, — предложил Имре.

Но и в Вене немало времени прошло, прежде чем он затронул эту тему.

Мы сидели в маленьком кафе. Несколько столиков, стульев, кадок с растениями было выставлено прямо на тротуар около входа. Над крышами домов возвышался шпиль храма св. Стефана. Медленно проехал фиакр, запряженный парой белых лошадей. Солнце палило нещадно: термометр на стене дома показывал более сорока градусов. "Сколько прекрасных романов написано о любви прославленных людей, — мелькнула у меня мысль. — И как приятно их читать. В действительности же каждая женщина мечтает обзавестись собственным домом и семьей".

— Я все обдумал, — заговорил вдруг Имре. — Холостяком я жил, холостяком и останусь. — Он улыбнулся, довольный тем, что ему удалось разрешить все мои трудности. — По моему, ты обладаешь истинным сценическим дарованием и многого добьешься в жизни. А я отойду в сторону, откажусь от тебя, буду тебе добрым другом — и не более... Доводилось тебе слышать о театральной школе Рейнгардта? Туда принимают только талантливую артистическую молодежь. На днях я говорил с руководителем школы...

Оказалось, что он уже обо всем договорился, и даже назначен день, когда я должна туда явиться.

Я взяла "Фауста" Гёте и принялась разучивать роль Маргариты: Но работала без особого воодушевления: мечты у меня были совсем другие.

Имре проводил меня, представил директору. Правда, не перевозносил меня до небес, однако намеками дал понять, будто я звезда года. Неудивительно, что директор с любопытством уставился на меня. А я чувствовала себя неловко. Обстановка вокруг свидетельствовала о строгой сдержан-

ности вкуса, и я волей-неволей сравнивала ее с роскошью и уютом кальмановского дома.

Я приступила к чтению монолога Маргариты, но даже сама чувствовала, что это сухая декламация. Едва я успела это сообразить и попыталась сосредоточиться на переживаниях героини, как директор резко хлопнул в ладоши.

— Довольно, хватит! — закричал он, явно раздосадованный. Казалось, еще минута, и он попросту зажмет уши. — Кошмар какой-то! — Понадобилось некоторое время, чтобы раздражение его улеглось.

— Господин Кальман, — начал он учтиво, — девушка молодая и очень красива, но таланта я не нахожу. В ней, как говорится, нет искры божьей. Вряд ли мы сможем ее принять.

Я была до такой степени сражена, что только и сумела выдать из себя:

— Но ведь ваши уроки будут оплачены.

Он с сожалением покачал головой.

— Мы занимаемся с людьми истинно талантливыми. Вы, фрейлейн, к их числу не относитесь.

Губы мои сделались непослушными, я дрожала всем телом.

— А ну начните сначала! — грубо прикрикнул он на меня. — Попробуйте снова, может, у вас что-нибудь получится сейчас, когда вы так взволнованы.

Проглотив застрявший в горле комок, я начала монолог. Запнулась, начала снова. У меня лились слезы, но я этого не замечала. Я была до того несчастна! Руки сами протянулись вперед, я держала в руках черепки — незримые, но вполне реальные. И сделала третью попытку.

Я увлеклась, и по мере того, как я говорила, моя собственная боль изливалась в отчаянии Маргариты. Мне доводилось стоять перед съемочной камерой и в Берлине, и в Вене, выступала я и на сцене, но такого чувства перевоплощения я никогда не испытывала.

Директор на сей раз дослушал меня до конца, не перебивая.

— Что-то в ней внутри шевельнулось... душа, что ли. А ведь так, на нее глядя, и не подумаешь. Беру свои слова обратно. Однако нужно прослушать ее еще разок, скажем, через четыре недели. Но только уж без вас, маэстро Кальман, с глазу на глаз.

За эти четыре недели Имре извелся пуще меня. Он по-

могал мне разучивать роль, прослушивал меня и если оказывался недоволен, то прибегал к однажды испытанному средству.

— Плачь! — кричал он мне.

Какое там "плачь", когда впору было смеяться: Имре до того комично выглядел со своим чрезмерным усердием и досадой. Затем, чертыхнувшись в сердцах, он отбрасывал книгу прочь. В таких случаях репетиции, как правило, прерывались, и мы шли куда-нибудь в кафе. Такой вариант меня вполне устраивал.

Четыре недели спустя я вновь предстала перед директором театральной школы, но на сей раз одна.

Уже сам прием подействовал на меня, как холодный душ.

— Вот что, фрейлейн, сейчас решится ваша судьба. У меня мало времени: даю вам десять минут. Если справитесь со своей задачей, я вас приму. Через две недели начнутся занятия. Если не справитесь, считайте, что вы украли у меня время.

От тона, каким это было сказано, я не расстроилась, а скорей заупрямилась. Монолог я, правда, начала, но читала бездушно, вяло. Пренебрежительным жестом он оборвал меня.

— Честь имею кланяться. Попытайте счастья в оперетте.

Весь визит занял несколько минут. Очутившись на улице, я бросила прощальный взгляд на неприветливый серый дом. Грусти я не испытывала, напротив, мной овладело чувство некоторого раскрепощения. По дороге домой я обдумала свою дальнейшую судьбу. Ни в кино, ни в театре мне так и не удалось закрепиться. Для меня оставалась открытой единственная возможность: пока я молода и хороша собою, надо выйти замуж, родить ребенка и на этом строить свою жизнь.

Эту программу я и изложила Имре, слово в слово.

— Не делай этого, ради всего святого! — Имре не знал, что и сказать, ему в голову не пришло отнести мои слова на свой счет. — Уж не влюбилась ли ты в кого-нибудь другого?

— Влюбиться не влюбилась. Но этот человек недурен собой и состоятелен, — соврала я, чтобы подзадорить его. — К тому же мы решили поселиться в Париже, а это моя давнишняя мечта.

Конечно, никакого другого мужчины у меня не было.

— Нельзя решать такие вопросы с бухты-барухты! Ты ведь еще подумаешь, правда? — с трудом выговорил Имре. — Давай позвоним твоей матери, спросим ее мнение.

От этого предложения я несколько сникла. В самом деле, что скажет на это моя мать?

А мать сказала следующее:

— Мы — русские, господин Кальман. Не пристало нам жить вашими подавниями.

Взбодораженная нашим звонком, мать той же ночью укатила из Бухареста. На следующий день мы уже втроем сидели в моей комнатухе в пансионе "Централь".

На Имре лица не было, все эти треволнения доконали его.

— Но я хочу всего лишь обеспечить будущее вашей дочери, — говорил он голосом, охрипшим от волнения. — Хочу, чтобы Верушка не знала забот, если оставит меня. Обещаю вам... — Глаза его заволклись слезами. — Я прекрасно понимаю: если Верушка сейчас бросит меня, она выйдет замуж за человека, которого, по всей вероятности, не любит. Считаю своим долгом позаботиться, чтобы она впоследствии не чувствовала себя несчастной. Здесь, в письме, все изложено... Это всего лишь мелкая компенсация за ту нежность, что я получил он нее.

Мать схватила конверт. Не спросила, что в нем — миллион или простая бумажка. Даже не вскрыла его. Порвав конверт в клочки, швырнула к ногам Имре.

— Нечего о нас беспокоиться, господин Кальман! Моя дочь молода, она устроит свою жизнь и без вашей помощи. Собирай свои вещи, Вера, и поехали! Была любовь, да вся вышла. Теперь по крайней мере все ясно: вы — венгр, мы — русские. Я-то думала, мы — родственные души, а выходит, чужие были, чужими и остались. Поедем, Вера, в Бухарест, а оттуда уедем в Париж.

Имре застыл как вкопанный, не сводя с меня глаз.

— Верушка, неужели ты сможешь вот так все бросить и вдруг уехать?.. Вы даже не дали себе труда прочесть мое письмо!

— Ваши письма нас не интересуют! — отрезала мать. — Прощайте, господин Кальман, мы уезжаем!

Имре больше не произнес ни слова. Выждав с минуту, он поцеловал меня, небрежно попрощался за руку с матерью и вышел. Дверь за ним захлопнулась, словно сама судьба разлучила нас. Во всяком случае, тогда мне так казалось.

Мать развила энергичную деятельность: раздобыла картонные коробки, чтобы упаковать мой скарб, изучила железнодорожное расписание. Ближайший поезд на Бухарест отправлялся в восемь вечера.

Хозяйка пансиона, увидя наши сборы, утвердилась в своих подозрениях.

— Никак съезжать надумали? А платить за вас кто будет? Мне еще за эту неделю причитается.

— О чем разговор, должны — так расплатимся! Сколько у тебя денег, Вера?

— Четырнадцать шиллингов. — Сушья мелочь, но у матери и того не было.

— Не беда! В течение часа я раздобуду деньги, а до тех пор мы никуда отсюда не тронемся, — завершила мать хозяйку.

И действительно, матери хватило часа, чтобы отнести в ломбард свои часы и золотые серьги. Вырученные деньги ушли на то, чтобы расплатиться за комнату, купить два билета до Бухареста и на такси добраться до вокзала.

К месту отправления, на Восточный вокзал, мы прибыли загодя, надо было дожидаться поезда. Помнится, я пыталась переубедить маму.

— Сама живешь в нужде и меня тянешь за собой... Какая судьба мне уготована?

Однако мать и не думала сдаваться, энергии и оптимизма ей было не занимать.

— Ничего, сделаешь карьеру. Или выйдешь замуж в Париже. Найдутся у тебя и другие поклонники, неужто на этом Кальмане свет клином сошелся!

Мы прождали еще часа полтора. Обе сидели молча, ужасно хотелось есть. Я грызла засохший сладкий рожок, тщетно пытаюсь утолить голод.

Слышно было, как маневрируют паровозы, подкатывают к перрону и отправляются в путь поезда. Пыхтели локомотивы, выпуская пар, глухо сталкивались буфера, скрипели и хлопали вагонные двери, шелкали стрелки. И непрерывным звуковым фоном служили гомон толпы и скрип багажных тележек.

И вдруг я увидела... Имре Кальмана! Вопреки своей обычной размеренности и спокойствию он быстро бежал. Направляясь прямо к нам, он еще издали кричал:

— Верушка-а!

Я вскочила и бросилась ему навстречу.

— Имрушка, ты пришел проститься со мной?

— Я заехал в пансион, и мне сказали, что вы уехали. Мне хотелось повидать тебя...

Я взяла его за руку, а мать с оскорбленным видом отвернулась. Имре подошел к ней.

— Добрый вечер, милостивая сударыня.

— Добрый вечер, — сдержанно кивнула мать. — Наш поезд сейчас отправляется. — Видимо, решив, что необходимо еще раз выяснить отношения, она распахнула кошелек. — Как видите, денег у нас осталось ровно столько, чтобы выпить по чашке кофе до Бухареста. Но мы — честные люди. И дочь моя — не продажная девка.

Имре схватил меня за руку и увлек за собой.

— Пойдем, мне надо поговорить с тобой наедине. Я должен тебе кое-что сказать.

Мать вскочила как ужаленная.

— Никуда ты не пойдешь! — прикрикнула она на меня.

Мы с Имре отошли на несколько шагов в сторону.

— Что случилось, Имрушка?

Нагнувшись вплотную, он горячо и сбивчиво зашептал мне на ухо:

— Пусть твоя мать уезжает, я ее видеть не могу. Она решила разлучить нас... но я люблю тебя, Верушка! Я женюсь на тебе.

В этот момент со стуком, грохотом, скрежетом подкатил бухарестский поезд. Мне пришлось кричать, чтобы мать разобрала мои слова:

— Мама, мы с Имре поженимся! Разреши мне остаться!

Мать к тому времени всего шесть недель как вышла замуж на некоего румына и, подозреваю, втайне обрадовалась такому обороту дела. Когда она, пытаясь перекричать вокзальный шум, обратилась к нам, голос ее вроде бы звучал любезнее:

— Ладно, держи свои коробки! А вы, господин Кальман, дайте мне знать, когда будет свадьба! — С этими словами она бросилась к поезду и поднялась в вагон.

— Мама! — крикнула я ей вслед. — Ведь у тебя нет денег! Имрушка, пожалуйста, дай маме хоть сколько-нибудь на дорогу.

Имре достал из кармана битком набитый бумажник крокодиловой кожи.

— Сейчас, только документы выну, — бормотал он, взволнованно, растерянно смеясь. Это Имре-то, который так редко смеялся! — Пусть забирает весь бумажник...

Мы все трое были как пьяные. Маму словно подменили, она была сама не своя от радости! Расцеловавшись через окно, мы радостно кричали друг другу какие-то ничего не значащие слова вроде "до свидания", "смотри не забывай

писать"... Поезд медленно тронулся.

— Слава тебе господи! — вырвалось у Имре из глубины души. — Теперь ты моя. Заберу тебя к себе, девочка моя, и станешь моей женой.

Мы видели, как мама подозвала к себе кондуктора. Я поняла, в чем дело: она желает перейти в вагон первого класса. Затем она еще раз подбежала к окну, замахала рукой на прощание. Ярким пятном мелькнуло портмоне крокодиловой кожи, а в следующий миг и мама, и бумажник, и оконный квадрат скрылись за дорожным поворотом. Мы остались вдвоем, и у ног наших на перроне лежали сваленные в кучу потрепанные картонные короба. Имре с сомнением разглядывал их.

— Верушка, что же нам делать с этими вещами?

Мне было так весело, легко; казалось, вот-вот вспорхну и улечу. В картонных коробках покоилось все мое прошлое — бедность, нищета.

— Тут один хлам. Для меня представляют ценность лишь твои письма и фотографии, а остальное можно сдать в камеру хранения и там позабыть.

Имре оказался рассудительнее.

— Не можем же мы здесь заниматься разборкой вещей! Позову носильщика, и пусть весь твой багаж доставят ко мне в контору.

Я чувствовала себя вольной птицей. Да я и вправду освободилась от всего — даже расчески и той у меня при себе не было. Так мы и отправились на квартиру к Имре. Времени было, наверное, около девяти. Имре дома ждали к ужину. Навстречу нам вышла горничная.

— Мари, у нас гостья. Ее милость, — он именно так и выразился, — заночует у нас. Извольте подготовить гостевую комнату.

Был подан еще один прибор, за столом прислуживала Мари. От волнения у меня горло перехватило, я не могла проглотить ни кусочка. Мы разговаривали, и во время разговора Имре на свой пессимистический лад трогательно попросил моей руки.

— Я столько передумал.., так боролся с собой! Но мне тебя не забыть, я люблю тебя и беру в жены... Боюсь, что это добром не кончится. Наш брак обречен на неудачу: между Шиофоком на берегу Балатона, где родился я, и уральской Пермью, где родилась ты, пролегла целая пропасть. Образ мыслей у каждого из нас разный: у тебя и твоей взбалмошной

матушки одни представления о семейной жизни, у меня же совсем иной идеал семьи — тут наши взгляды совсем не совпадают. И что будет, если у нас появится ребенок? Ведь я способен лишь обожать и баловать детей, а воспитатель из меня никудышный.

Я уже привыкла к подобным его настроениям. Будущее всегда рисовалось Имре в черных или серых тонах. В тот момент все его излияния пролетали мимо моих ушей, словно легкий сквозняк.

— Мне сейчас на все наплевать. Я до такой степени перенервничала, что у меня одно желание: как можно скорей очутиться у себя в комнате. Но вот беда — ведь у меня нет даже зубной щетки.

Мое замечание положило конец его элегическим прогнозам. Когда дело доходило до активных действий в настоящем, Имре оказывался в своей стихии. Он отправил шофера в ближайшую аптеку за зубной щеткой и одолжил мне свою пижаму. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя госпожой Кальман. Подвела жирную черту под семнадцатью годами своей предыдущей жизни: итак, с девичеством покончено. За завтраком мы с Имре уже обсуждали подробности свадьбы.

Никогда не забуду те сумбурные недели. В глазах света — перед добрыми друзьями Имре Оскаром Штраусом и Ференцем Легаром, перед Грюнвальдом и Браммером, симпатичными либреттистами, с которыми Кальман намеревался и впредь сотрудничать, — я была законной невестой Имре Кальмана.

Совсем иное отношение встретила я со стороны прислуги. Все четверо: повариха, горничная Мари, лакей Ганс и шофер — любили Имре и были беззаветно преданы ему. Кальману они смотрели в рот, ловя каждое его слово, меня же упорно не желали замечать. Шофер и вовсе строил из себя хозяина в доме. Правда, четверка эта всячески заботилась о комфорте для своего господина, но во всем остальном вела себя независимо, давая мне почувствовать свою неприязнь. Я же поклялась самой себе, что, как только стану законной супругой Кальмана, они у меня отсюда вылетят как миленькие.

— Верушка, сегодня в Вену приезжает поистине великий человек, — с сияющей улыбкой сообщил мне Имре однажды

утром. — Я поеду на вокзал встречать его. Ты, конечно, догадалась, кто это?

Откуда мне было догадаться: Имре имел такую пропасть знакомых во всех уголках света!

— Гершвин, — сказал он, — сам Джордж Гершвин!

— Вот как? — отделалась я ничего не значащей репликой. Да и что еще я могла сказать, ведь имя это мне мало что говорило. Но Имре был на седьмом небе от восторга и не заметил моей реакции.

— Я хочу, чтобы вы познакомились.

— Мне это не слишком-то интересно...

— Верушка, ты непременно должна с ним встретиться! Со временем будешь гордиться, что знала такого великого музыканта.

— Господи, я горжусь тем, что знаю Имре Кальмана, и с меня вполне достаточно!

— Верушка, но это же совсем другое!.. Джордж Гершвин сегодня вечером впервые исполнит "Рапсодию в блюзовых тонах". Исполнит на моем рояле!

По этому случаю Имре пригласил из Будапешта свою мать, сестер с мужьями. Я была поглощена подготовкой к ужину и давала распоряжения лакею и горничной, как расположить столовые приборы, а как — салфетки.

— Простите, милостивая барышня, — дружно возразили оба, — но до сих пор приборы мы клали с другой стороны тарелки, а не так, как вы велите.

В их тоне я почувствовала нескрываемое осуждение.

— Весьма сожалею, Мари, — решительно заявила я, — но отныне вы станете накрывать на стол так, как велю я.

В тот вечер я впервые встретила с семьей Кальмана, но мы едва успели перемолвиться словом, так как в центре всеобщего внимания находился Гершвин. Мне он показался непримечательным, но симпатичным человеком. Зато его подруга-блондинка была личностью яркой. Вместе с Джорджем приехали и его брат Айра Гершвин со своей женой Леонорой. Айра в ту пору был импресарио Джорджа, позднее он написал текст оперы "Порги и Бесс".

Все собравшиеся болтали без умолку. Поскольку большинство гостей английского не знали, разговор шел по-немецки — с некоторым русско-польским акцентом: Гершвины были польско-русского происхождения.

Подошла пора ужина, гости откушали. Вскоре после этого Гершвин сел к роялю и исполнил "Рапсодию в блюзо-

вых тонах". Имре пришел в совершеннейший восторг, равно как и все семейство. Молчала одна я, хотя единственная из всей компании немного говорила по-английски.

— Верушка, ну скажи хоть что-нибудь, — обратился ко мне Имре.

Он до самой смерти помнил то, что я тогда сказала:

— У меня такое впечатление... как бы это выразиться... словом, это не настоящие мелодии, к которым я привыкла. По-моему, все это скорее напоминает импровизацию.

Наступила внезапная тишина — давящая, напряженная. Я почувствовала, будто проваливаюсь в ледяной погреб.

— Что с нее взять, она еще ребенок, — оправдываясь, проговорил Имре. — Вдобавок привыкла к моим мелодиям.

Остальные снисходительно подхватили его тон: "Ах, как очаровательно!"

Разумеется, для того, чтобы разбираться в подобной музыке, надо слушать ее чаще и больше. Мне поистине претила музыка Гершвина, музыка такого типа, которую любил Имре. Лишь гораздо позднее, уже в Америке, услышав "Порги и Бесс", я изменила свое мнение, но было уже поздно...

На другой день мы всей компанией отправились в кафе "Вестминстер". Огромный зал был забит до отказа страстными поклонниками джазовой музыки и журналистами, которых созвал Имре. Ну, и конечно, любопытной публикой — всем не терпелось взглянуть на американскую знаменитость. Большой оркестр исполнил "Рапсодию в блюзовых тонах", и присутствующие встретили ее с таким же восторгом, как накануне семейство Кальман. Только выражение этого восторга было еще более шумным. После концерта Гершвин вынул из кармана серебряную самопишущую ручку и преподнес ее Имре Кальману. Именно этой ручкой от начала до конца написал знаменитый американец партитуру "Рапсодии".

В завершение своего визита Гершвина дали прощальный ужин в честь Имре. Джордж на сей раз вручил ему еще один памятный дар — свою фотографию с надписью: "Моему большому другу Кальману в знак почтения. Джордж".

Мне кажется, мало кто знает, с каким искренним восхищением относился Кальман к музыкальному новаторству, в особенности к мастерам джаза. Мы, например, принимали у себя Пола Уайтмена, руководителя прославленного американского оркестра. Имре пригласил его к нам отведать

цыпленка по-венски, зажаренного в сухарях. С тех пор это блюдо стало любимым для Уайтмена.

Меня в ту пору волновали не джазовая музыка и не "Рапсодия" Гершвина, а совсем иные заботы. Будучи иностранкой, я не имела гражданства. Моя мать и я располагали всего лишь "нансеновскими паспортами", которые вручались беженцам. Мне никак не удавалось раздобыть бумаги, необходимые для вступления в брак. Помните, как поет хор в "Королеве чардаша":

"Счастья час настал для нас,
Сбылась мечта..."¹

Однако служащие венской нотариальной конторы строго придерживались формальностей:

— Увы, фрейлейн, пока ваши документы не будут в порядке, брак не может быть заключен.

Оказывается, удостоверение беженки и наши с матерью "нансеновские паспорта" официальной силы не имели. С меня требовали представить либо свидетельство о рождении, либо выправленный по всем правилам паспорт, либо вид на жительство и так далее. А где, спрашивается, я могла их взять? Мое метрическое свидетельство, по всей вероятности, сгорело в Петербурге, и кто считался в 1917 году с русскими беженцами? Нас выпихивали из одной страны в другую, лишь бы сплавить подальше. Правда, я не слишком ощутила на себе ужасы и тяготы последних лет войны: самые ранние мои воспоминания связаны с немецкими пансионами да с работой статистки в Берлине. Однако бумаги и справки той поры никакого веса не имели. Правда, они обрели его сразу же, как только представил их Имре Кальман.

— Да-да, разумеется, уважаемый маэстро, рады услужить.

Все мои недействительные справки и бумаги тут же были приняты, и я стала госпожой Кальман. Из нотариальной конторы мы вместе со свидетелями отправились в теперь уже ставший "нашим" ресторан "Опернкеллер". Нас поджидал богатый свадебный стол, уставленный бутылками с шампанским, икрой и всевозможными деликатесами. Лишь я осталась верна своей привычной норме: двум яйцам всмятку и ломтику ананаса. Меню несколько однообразное, зато не вредит фигуре.

¹Перевод Д. Толмачева, В. Михайлова.

Наша совместная жизнь началась со свадебного путешествия на юг Италии с заездом на обратном пути на Ривьеру. Новая жизнь принесла нам обоим трудности и победы, родительские радости и супружеский развод, а также сладчайшие муки ревности.

В то время весь мир облетела песня: "Сегодня вы опять приснились мне во сне..." Мелодию эту пели, играли, насвистывали повсюду, она стала шлягером года. А песня эта — моя. Имре написал ее в мою честь и преподнес мне в качестве свадебного подарка.

Я вторглась в никем не занятые дотоле апартаменты — в спальню императрицы Жозефины, в роскошную постель под балдахин из настоящих кружев. Поначалу со страхом, а вскоре как нечто само собой разумеющееся воспринимала я атмосферу утонченности и достатка. Впервые в жизни я обрела место, которое могла назвать своим домом, к тому же в этом доме не знали материальных забот. Понятия не имею, сколько представлений к тому времени выдержали "Марица" и "Королева чардаша", но в любом случае они позволяли Кальману жить на широкую ногу.

У Имре была тьма-тьмушая знакомых, а для меня стало подлинным счастьем принимать наших гостей подобающим образом. В этом деле я могла рассчитывать на помощь четверых домашних духов, вот уже долгие годы опекавших Имре. Однако моему появлению в доме эти помощники отнюдь не обрадовались.

— Имрушка, — выступила я с первым своим нововведением в качестве хозяйки дома, — сейчас самое время сменить прислугу.

— Боже правый! — Имре захлебнулся от возмущения. — Едва успела переступить порог и уже затеваешь перемены. Да ведь эти люди чуть ли не двадцать лет прослужили у меня, я к ним привык. А уж такую кулинарку, как Тони, и вовсе днем с огнем не сыщешь!

— Поискать, так и сыщем! — Я не желала отступать ни на йоту. — Такова моя воля. А ты и с новой прислугой прекрасно уживешься.

Недолго пришлось нам спорить и пререкаться: на следующее утро все четверо сами заявили, что увольняются. Наша антипатия была взаимной, и с первого числа вся прислуга получила расчет. Лакею, горничной и шоферу тут же нашлась замена, а вот подыскать подходящую кухарку оказалось не так-то легко.

Каждую неделю я представляла очередную кандидатку, но ни одна из них не могла угодить моему мужу. Он и всегда-то был брюзгой, а теперь рассердился не на шутку.

— От такой стряпни и помереть недолго. Придется ходить в ресторан, — заявил он как раз в тот день, когда собирался ехать в Будапешт.

— Твои соотечественники славятся своей кухней, — заметила я. — Вот и подыщи в Будапеште хорошую кухарку.

— Блестящая идея! — воскликнул Имре и тотчас же позвонил своей сестре Илонке.

— Говоришь, вам нужна кухарка? — удивилась Илонка.

— Вот именно. Но не хуже твоей!

Илонка, не долго думая, предложила готовый вариант.

— Из казино "Магнат" только что уволилась изумительная кухарка. Мария Первич — так ее зовут — решила открыть собственное заведение, хотя от ее услуг не отказались бы премьер-министр или сам регент. Но ты не расстраивайся, дело поправимо, если предложить ей побольше.

— Раздобудь для меня эту кухарку! — закричал в трубку Имре. — А я сегодня же буду у вас.

И тотчас отбыл в Будапешт. В тот же день от него пришла телеграмма: "Верушка, дама очень симпатичная, лет пятидесяти, по-немецки не знает ни слова. Но кулинарка якобы несравненная. Я заключил с ней временный контракт на неделю, завтра приедем вместе. Надеюсь, она тебе подойдет, правда, платить ей придется в пять раз больше, чем Тони или любой другой стряпухе. Пригласи гостей, чтобы испытать ее в деле".

И я пригласила нашего домашнего врача с женою, знакомого адвоката с супругой и еще двух друзей.

Поезд из Будапешта прибыл днем.

С помощью нескольких венгерских слов и выразительной жестикуляции я дала понять новой кухарке, что не прочь была бы перекусить: меня разбирало любопытство. По прошествии четверти часа лакей подал пудинг под соусом бешамель, какого мне сроду не доводилось пробовать. Я не сумела устоять перед соблазном, хотя в то время соблюдала строгую диету.

До сих пор не знаю, какими приправами она сдобрила это блюдо, но пудинг удался на славу. Мне же пришлось примириться с фактом, что я поправилась по меньшей мере на четверть кило. Однако к вечеру я уже и об этом жалеть перестала. Даже наблюдать за работой Марии Первич и то было

приятно. Она стояла посреди кухни в позе полководца на поле сражения и диктовала владеющему венгерским лакею список всех необходимых припасов, каковые надлежало доставить из магазина, где не понимали ее родного языка: пять десятков яиц, три килограмма масла, два литра сливок...

— Помилуйте, но ведь за столом будет всего восемь человек!

— Не имеет значения, — ответила она решительно и с достоинством. — Мне необходимо именно такое количество продуктов. И извольте, мадам, на меня положиться.

Выйдя из кухни, я подсмотрела в щелочку, как Мария облачилась в длинный белый халат, повязала голову белоснежной косынкой и обула белые туфли. А вскоре по дому поплыли упоительные запахи.

Прекрасно помню первый ужин, те творения, что вышли из-под рук этой королевы. В качестве вступления был подан молодой судак особой балатонской породы — рыба, не имеющая специфического рыбного запаха, — под каким-то необыкновенным крем-соусом, сверху судак был украшен свежей икрой. Основным блюдом был жареный гусь, покрытый хрустящей корочкой и при этом очень мягкий. Его можно было сравнить разве что с шедевром поэзии! Блюдо дополняли восхитительные тушеные овощи и миниатюрные картофельные крокеты. На десерт мы получили целый букет сладостей: облитое шоколадом "седло косули", шоколадный торт со взбитыми сливками и жареным миндалем, вафли, прослоенные таким нежным кремом, что они буквально таяли во рту...

— Врушка, — торжественно объявил мне муж, после того как гости разошлись, — с помощью этой женщины ты завоеешь репутацию лучшей в мире хозяйки дома.

Итак, первое испытание Мария Первич выдержала. Но на следующий день я задала ей новый урок:

— Все, что вы приготовили вчера, было превосходно. А сегодня мы будем есть просто отварную говядину.

Ну что ж, Мария Первич самолично отправилась в мясную лавку — солидное заведение с огромным собственным холодильником. Дотошно разглядев весь товар, она указала на половину туши:

— Вот этот кусок мне годится! — И она недвусмысленно дала понять, что требует разделать оковалок.

Ради двух килограммов мяса пришлось разрубить поло-

вину туши, но зато этот двухкилограммовый кусок в точности соответствовал ее замыслу. Отварная говядина была приправлена грибной подливкой... Муж за один присест проглотил пять ломтиков.

— Если и дальше так пойдет, — блаженно простонал он, — я умру от ожирения сердца.

Сказочные пиршества продолжались изо дня в день.

— Мыслимое ли дело так распускаться, — сказала я себе однажды. — Да и Имре потерял за столом всякую меру. Эта женщина стряпает чересчур вкусно.

Кухарке же я изложила свои соображения следующим образом:

— Мария, готовите вы божественно. Однако, если верить весам, я прибавила килограмм, а муж — целых шесть. Это для нас многовато, мы себе такого позволить не можем.

Первич, ни слова не говоря, подхватила свою соломенную кошелку, где хранились ее кухонный халат, косынка и прочие атрибуты власти.

— Мадам, — произнесла она, явно глубоко оскорбленная, — я думаю, мне лучше будет уехать. И по Будапешту я стосковалась, и со слугами не знаешь, как объясняться: им говоришь, а они не понимают.

— Душечка Первич, — попыталась я умаслить ее. — Вы меня не так поняли! Разве вам у нас плохо? Живете как у Христа за пазухой, жалованье вам мы положили высокое...

— Ах, да не в этом дело! — упорствовала она. — Уеду, и все тут.

Нанести мужу такой предательский удар я не могла.

— Я буду приплачивать вам двести шиллингов ежемесячно, — посулила я. ("Из своих карманных денег", — решила я про себя.) — Да и по другим статьям набегит... Если вы у нас хоть год пробудете, вы же разбогатеете. Сами видите, мой муж наверху блаженства. Просто ему нельзя есть целые порции, а надо довольствоваться половинными.

Я призвала на помощь весь свой запас венгерских слов. Это возымело действие.

— Ну, ладно, — смиловилась она наконец и поставила на пол свою дорожную корзину. — Так уж и быть, остаюсь.

А Имре ворчал, поскольку счета наши за последующие недели резко возросли.

— У нас на хозяйство уходит в десять раз больше прежне-

го, хотя дай бог если мы два раза в неделю принимаем гостей. Ты хоть заглядывала в книгу расходов?

Я попыталась разобраться в записях расходов, что явно пошло на пользу моим языковым познаниям: я усвоила массу новых венгерских слов. Однако Первич намертво держалась за свои принципы. Она наскоро выучила одну немецкую фразу, а впоследствии воспроизводила ее и на английском, и на французском всякий раз, когда кто-то из наших гостей изъявлял желание узнать, каков рецепт этого изумительного супа или умопомрачительного жаркого из мяса.

— Берем десяток яиц, килограмм сливочного масла, один литр сливок...

Ей не было нужды продолжать фразу, так что на этом запас ее иностранных слов и ограничился. Любопытство гостя угасало уже при упоминании сливок.

— А-а, — следовал досадливый взмах руки, — хорошо тому, кто может позволить себе так роскошествовать.

Новая повариха оказалась поистине бесценным приобретением для дома, выяснилось, что она отнюдь не исчерпала своих возможностей. Нам, к примеру, теперь не требовалось покупать хлеб или булочки: их выпекала Мария Первич, и лучшей выпечки мы в жизни своей не едали. Не было такого кушанья или напитка, приготовить которые ей оказалось бы не под силу. Когда я ждала первого ребенка, она, невзирая на холодную пору года, ухитрялась раздобыть для меня клубнику и черешню. Благодаря ее кулинарному искусству нам завидовали повсюду: в Австрии и Франции, в Швейцарии и Америке. Ференц Легар во что бы то ни стало хотел раздобыть такую же кухарку и с этой целью не раз наведывался к нам вместе с супругой. Мы вели поиски в Будапеште, просили о помощи сестер Имре, но все безрезультатно: второй Марии Первич в мире не существовало.

Гастрономические излишества, как и всякие другие, наказуемы.

Посетители модных курортов Ишль и Гойзерн могли бы, при желании, дважды в неделю наблюдать весьма странное зрелище, и если не становились его свидетелями, то лишь потому, что предпочитали прогулку по тенистому Курпроменаду вылазкам в горы в окрестностях холодного как лед озера Хальштат. Два раза в неделю через Ишль проезжал мощный американский автомобиль и сворачивал к Гойзерну. Когда машина останавливалась, из нее, поспешно гася сигару, вылезал почтенный господин лет сорока с лишком

и его юная, цветущая жена. На сиденье машины были приготовлены стопка махровых полотенец, чистая смена белья и большой флакон одеколона.

Молодой, по-спортивному подтянутый шофер, лениво развалился на водительском сиденье, черепашим шагом вел машину по дорожке вверх.

А супруги Кальман совершали пешую прогулку. Да и что может быть лучше, в особенности если солнце на безоблачном небе жарит вовсю.

Пот катился с нас ручьями, и видно было, как прямо на глазах тают накопленные лишние граммы. Каждое восхождение длилось полтора-два часа.

Когда мы добирались до вершины горы, шофер растирал Имре полотенцами, и маэстро облачался в чистую сорочку. Затем мы доставали из машины весы и всякий раз с радостью убеждались, что от пары килограммов нам удалось избавиться.

До чрезвычайности гордые своим успехом, мы располагались в саду ресторанчика, и, поскольку всякий труд заслуживает награды, истерзанный жаждой Имре заказывал себе два-три стакана воды со льдом.

Затем мы усаживались в машину и спускались с горы уже с полным комфортом. Ну, а к вечеру Мария Первич, стараясь превзойти самое себя, закатывала нам очередной пир. Я-то не слишком стремилась наверстать упущенное, зато Имре... Превосходный здоровый аппетит заставлял его начисто позабыть обо всех зароках и обещаниях, и уже назавтра он вновь достигал прежней кондиции.

В один прекрасный день — не помню, светило ли солнце, или шел дождь, но день уж точно был чудесный — у нашего дома появился сказочно красивый, сверкающий никелем и лаком автомобиль, первая в моей жизни собственная машина. Я чувствовала себя, как героиня "Герцогини из Чикаго", весь день в ушах у меня звучала ария из кальмановской оперетты:

"Мне путешествовать не лень
На скорых поездах,
Пока в один прекрасный день
Не сяду в "кадиллак".

Чувства наши совпадали, вот только машина была другой марки — не "кадиллак", а "мерседес". Мой муж, при всей щедрости этого дара, отличался скорее экономностью, нежели расточительством. Я же придерживалась принципа, "положенного на музыку" самим Имре — также в "Герцогине из Чикаго":

"С чековой книжкой в кармане
Ты сам себе господин..."

Имре, конечно же, понимал, до какой степени разнятся наши темпераменты, а вскоре они даже пришли в столкновение. Месяца через три после свадьбы я зашла в магазин Генриха Грюнбаума, славившийся на всю Вену самыми элегантными туалетами и мехами. Сколько я себя помню, пределом моих мечтаний была шуба! На этот счет я могла бы поведать немало забавных историй и кое-что расскажу-таки позднее. Пока же, обнаружив в магазине Грюнбаума шесть шуб одна другой краше, я просто не знала, на какой из них остановить свой выбор. И тут меня осенила спасительная мысль:

— Возьму-ка я все шесть!

Увидев присланный счет, Имре побледнел.

— Боже мой, без году неделя замужем, а деньги транжирит как миллионерша! Зачем тебе шесть шуб сразу, да вдобавок таких дорогих?

— Милый, — ответила я, — не забывай, что я супруга Имре Кальмана. Мне надлежит достойно представлять это имя.

Войдя хозяйкой в дом Кальмана, я обнаружила там "ребенка" — маленькое существо, любимое, пожалуй, не меньше всех тех детей, которым подарили жизнь люди. Малышка отзывалась (когда ей заблагорассудится) на кличку Мэри: так звали героиню оперетты "Герцогиня из Чикаго", и в честь нее назвал Имре свою собаку — гладкошерстную избалованную таксу. Эту породу Имре предпочитал всем другим и в особенности любил дам.

Семнадцать лет назад в доме Имре водворилась такса по кличке Шари, или, как ласкательно называл ее хозяин, Шарика. Было это давно — в ту пору, когда я еще только появилась на свет, а Имре работал над опереттой "Цыган-премьер". Возможно, читатель помнит, что героиню той оперетты звали Шари.

За Шари последовала, тоже гладкошерстная, такса Сильвия, названная в честь "Королевы чардаша", а успех "Марицы" был ознаменован появлением в доме веселой собачки с тем же именем. По утрам Марица тыкалась носом в руку хозяина до тех пор, пока ей не удавалось его разбудить — если, конечно, Имре, несмотря на множество часов в доме, ухитрялся проспать. Имре не любил опаздывать и поэтому, уходя из дома, всегда прихватывал с собой лишние часы. Дело кончилось тем, что при нем было четверо часов: в жилетном кармашке, на руке, в портмоне, а этаким громадный хронометр — в кармане пиджака. Каждое утро он сверял их, добиваясь точности до секунды.

Коллекционирование часов было одним из его страстных увлечений. В каких бы краях ни доводилось бывать Кальману, он подолгу простаивал перед витринами ювелирных и антикварных лавок. Если попадались экземпляры особой красоты или ценности, Имре их приобретал. В его коллекции были представлены все эпохи в истории часового искусства. На столике у его постели стояло трое часов. Одни из них я и по сей день повсюду вожу с собой, а пару других передала в дар музею Кальмана, разместившемуся в Хофбурге.

Каждый человек имеет право на чудачества. Моего супруга всегда окружало множество искренних друзей, поклонников его таланта, а он был по натуре человеком сугубо замкнутым и вполне довольствовался обществом своих такс и созерцанием коллекции часов. Мне предстояло прежде всего выманить эту "улитку" из ее раковины. Точнее говоря, я пыталась это сделать, хотя и не всегда с успехом.

Премьеры или какие-либо другие знаменательные события нашей жизни мы, как правило, отмечали вне дома, и я всегда этому радовалась. Веселая, жизнерадостная, я вечно оказывалась в окружении мужчин, которые не скрывали передо мной своего восхищения. И я безумно любила танцевать, а Имре, как известно, не танцевал.

В таких случаях меня всегда выручал Ференц Легар. Будучи по возрасту старше Имре, он тем не менее предлагал:

— Пойдемте в бар, потанцуем немного.

И мы танцевали. Легар был превосходным партнером. Но через какое-то время мой муж сердито вскакивал с места, торопливо подходил к нам и обрушивался на Легара:

— Может, ты наконец проводишь мою супругу к столу?

— А в чем дело? — спокойно возражал Легар. — Ты не танцуешь, но это еще не причина лишать ее столь невинного удовольствия.

— Ну что ты скажешь? — жалобно взывала я к Легару. — Запрещать мне танцевать, когда для меня это такое наслаждение!

И у Легара достало мудрости дать другу дельный совет:

— Дай ей потанцевать, Имре. Не стоит чересчур натягивать поводья, иначе лошадка может встать на дыбы.

Имре в тот период был целиком поглощен работой над новой опереттой "Фиалка Монмартра", задуманной как бы в мою честь: в память бедной девушки, обуреваемой большими желаниями и страстно влюбленной в Париж. Авторами текста выступали все те же Браммер и Грюнвальд — либреттисты "Марицы" и "Герцогини из Чикаго". Однако внимание Имре было отвлечено другим событием — такого ему еще не доводилось пережить ни разу в жизни. Муж подробно описал его: "В пятницу после обеда [хмурым, серым днем в середине ноября. — В. К.] мы еще вместе побывали в кино, Верушка и я. Затем я работал до часу ночи. А в субботу утром Мари [горничную у нас непременно звали Мари. — В. К.] принесла мне известие".

Таким бесстрастным описанием начинается письмо, которое (во множестве копий) Имре отправил в Будапешт своей матери и сестрам: неважно, что текст был идентичный, зато адресован он был каждому родственнику в отдельности, дабы каждый был осведомлен о событии подробно.

Лично я лишь гораздо позднее прочла это письмо-рассказ о рождении нашего ребенка. Оно ярко характеризует самого автора — Имре Кальмана, добропорядочного человека и супруга, романтика в душе, замороженного прикосновением к исконному чуду природы. В начале письма он чуть ли не оправдывается из-за этого: "Я, можно сказать, дал миру дитя, а сам до сих пор не в силах постичь это мистическое явление... Итак, после того как я узнал о начале события, я прошел к Верушке, она вела себя очень спокойно и мужественно. Мы тотчас же вызвали врача, который похвалил нас за то, что мы абонировали палату в клинике. Верушка собрала свои вещи и то небольшое из детского приданого, что мы купили заранее. Она была абсолютно спокойна и, можно сказать, счастлива. Ну, а я, конечно, ужасно волновался".

В половине седьмого вечера я переселилась в клинику.

Имре зафиксировал каждую подробность: "До девяти я пробыл у нее, а затем отправился в венгерский кабачок, где и отужинал в обществе Браммера и других. К десяти опять вернулся в клинику, и как раз в это время начались схватки. Будучи большим любителем точности, я старался по часам определить, с какими интервалами они возникают. Настроение у Верушки было превосходное. Как только боли отпускали, она принималась шутить и успокаивала меня".

Имре хотел остаться около меня на ночь, однако профессор в два часа пополудни отправил его домой.

"По дороге домой у меня было такое чувство, что все свершится 17 ноября. Мне так хотелось бы, чтобы судьба подарила младенцу жизнь в день премьеры "Королевы чардаша". Тут же ночью я стал рыться в воспоминаниях и в афишах и, к превеликой своей радости, установил: премьеры "Королевы чардаша", состоявшаяся в 1915 году, действительно приходилась на 17 ноября".

Имре казалось, будто сама судьба распростерла над ним свои крылья.

— Отправьте моего мужа домой! — просила я, пока Имре находился в клинике, а затем, когда он уехал, наказывала всем: — Не беспокойте моего мужа попусту, пусть он придет, когда все будет позади!

Ночью клиника напоминает опустевший театр. Изредка мелькающие лица — все какого-то зеленовато-серого оттенка. Каждый шаг, каждое слово особенно гулко звучат среди белых больничных стен.

Имре позвонил в клинику утром, без четверти шесть — ему не спалось. Через час он поинтересовался моим самочувствием снова, и тут уж к телефону подошел сам профессор.

— Все идет как надо, господин Кальман. Ребенок родится, по всей вероятности, в течение часа.

Услышав такой ответ, Имре наверняка еще какое-то время понервничал, но затем прирожденный хороший аппетит одержал верх.

"Без нескольких минут восемь, как раз когда я завтракал, мой старый друг и наш домашний врач доктор Майзель известил меня, что все, слава богу, идет как надо..." — так описывал Имре три дня спустя то памятное утро в послании к родственникам.

"Родился... к тому же мальчик, и уже криком требует

к себе отца... Мне было сказано, что я могу явиться лишь через полчаса, но я отправился раньше. Мне показали ребенка. Я стоял там, свежесбрившийся, сытый после обильного завтрака, с тростью в руках и с сигарой во рту, которая в то утро доставляла мне какое-то особое наслаждение, и вдруг устыдился своих низменных ощущений. Ведь в этом деле всю чудовищную тяжесть несет женщина, а мужчине отводится лишь роль наблюдателя”.

— Фу, какой некрасивый ребенок! — заявил он акушерке. Та страшно разобиделась:

— Да это самый красивый мальчик, какой когда-либо появлялся на свет в нашем заведении!

Когда нам принесли сына, Имре выявил поразительное сходство между собой и младенцем — и не без оснований. Вероятно, секрет в том, что оба они родились под знаком Скорпиона: Имре 24 октября, а наш сын Карой Имре Фёдор (названный так в честь деда, отца и главного героя “Принцессы цирка”) — 17 ноября. Подозреваю, что люди, родившиеся под этим знаком, обладают самыми тяжелыми характерами.

Последующие дни Имре почти целиком провел в клинике. В первое же утро он разослал бесчисленное множество телеграмм и обзвонил всех своих друзей. Я пачками получала поздравления, палата была сплошь уставлена букетами цветов один другого краше. А Имре не мог надивиться крошечному человечку, который был обязан ему жизнью.

”Младенец тем временем очень похорошел, так что его можно всем показывать, — с гордостью сообщал он в Будапешт. — Форма головы у него в точности такая, как была у нашего отца, да и многие другие черты он также унаследовал от него. Ну, и от меня тоже, с той только разницей, что у мальчика очень красивые волосы, зато точь-в-точь такого же цвета, как у меня. Волосы густые и длинные, так что уже на второй день их причесали, и у него сейчас очень красивая прическа. Глаза у него, как и положено, темно-голубые и удивительно блестящие. Взгляд настолько чистый и живой, настолько быстро переходит с предмета на предмет, что прямо не верится, что перед тобой новорожденный младенец. Нос у него в точности как у нашего отца, а рот и нижняя часть лица — вылитые мои. И пальцы тоже мои. Поразительно, но факт: ребенок уже сейчас держит торчком указательные пальцы так же, как и я; похоже, он унаследовал мой недостаток: эти пальцы у него не столь подвижны, как остальные”.

”Могу сказать, что в этот день я испытал первую в своей жизни истинную радость”, — ликовал Имре. Но мрачный Скорпион тут же дал о себе знать: ”...к сожалению, от радости я на три дня забросил работу...”

Имре и в самом деле забросил все на свете, в том числе и очередную оперетту. В Бабельсберге ему поручили написать музыку к новому фильму Рейнгольда Шюнцеля, но сейчас ему было не до того. Не реагировал он и на интерес, проявленный со стороны Голливуда: Луис Б. Майер, директор студии ”Метро-Голдвин-Майер”, выразил желание экранизировать две его оперетты с Джанет Макдональд и Эдди Нельсоном в главных ролях. Имре Кальман, который никогда, даже во время свадебного путешествия, не откладывал карандаш более чем на двадцать четыре часа, сейчас ничегошеньки не сочинял. Матери, сестрам, зятьям он писал следующее: ”И свершилось то, что я еще месяцы назад предрекал вам: госпо-ду богу было угодно, дабы род отца моего продолжился. Возрадуемся же этому!”

Муж трогательно отзывался и обо мне, ведь родственники охотнее видели бы супругой Имре Кальмана Агнес Эстерхази, нежели меня. ”Мы должны быть благодарны этой юной девчужке, которая даже на родильном одре выглядит как школьница, а не как мать семейства. Последуйте моему примеру, а я благодарен ей от всего сердца за то, что она, невзирая на свою молодость, выдержала нелегкую борьбу, в результате принесшую мне счастье. На этом мнении теперь сошлись все те, кто поначалу скептически качал головой. Могу заверить вас с полным основанием: вся Вена радуется этому младенцу”.

Нам выпало счастье еще дважды испытать это чудо — рождение ребенка. Оно не казалось столь непостижимым, как в первый раз, но все равно: чудо оно и есть чудо. Наша дочь Лили — Элизабет Вера — родилась в 1931 году, а Ивонка — Ивонна Сильвия Марица — пятью годами позднее.

В первые месяцы после рождения сына дом наш сотряс-ся от криков. Но кричал вовсе не ребенок, а трое взрослых мужчин. Двое из них являлись к нам каждый день в два часа дня, а третий — Имре — уже поджидал их. Все трое пили черный кофе в невероятных количествах, хотя никакого подстегивания для усиленной эксплуатации голосовых свя-зок ни одному из них не требовалось. В курении они тоже успешно состязались друг с другом. Не случайно комнату, где проходили эти творческие встречи, мы прозвали ”кри-

чальная”, тот же эпитет получили и дни сходов композитора и либреттистов.

Гвалт в комнате стоял такой, что можно было подумать, будто там идет ярмарочный торг, хотя на самом деле в ”кричальной” создавался текст новой оперетты Кальмана ”Фиалка Монмартра”. Ожесточенные споры длились, как правило, с двух часов дня до двух часов ночи, пока наконец выдохшиеся и несколько примиренные противники не падали без сил. А на следующий день все повторялось сначала: они опять долго не могли прийти к единому мнению и пытались переубедить друг друга исключительно при помощи крика.

Точно таким же образом проходила работа Кальмана с либреттистами Юлиусом Браммером и Альфредом Грюнвальдом над ”Марицей” и ”Принцессой цирка”. Имре не умел сочинять музыку на заданный текст, поэтому слова приходилось потом подгонять под музыку.

— Как вы сочиняете? — спросили однажды Имре. — Вам, вероятно, необходимы рояль и абсолютная тишина?

— Никакие подручные средства мне не нужны, — ответил Имре. — Процесс сочинения происходит здесь, — он ткнул себя пальцем в лоб, — и в сердце.

Но вот что уж точно не годилось ему для работы, так это суета. В ”кричальные” дни Имре не мог создать ни такта. Он любил сидеть под цветущими деревьями: яркие краски, аромат цветов способствовали вдохновению. Но с таким же успехом случалось, что во время прогулки или где-нибудь в кафе он вырывал листок из блокнота и, позабыв обо всем на свете, записывал ноты, а окружающим оставалось лишь терпеливо ждать, пока он зафиксирует на бумаге неожиданно пришедшую ему в голову музыкальную мысль. Однажды, когда Имре явился на вокзал, чтобы встретить возвращавшихся из Карлсбада мать и сестер, в мозгу его вдруг зародилась мелодия, а блокнота при себе не оказалось. К счастью, по тогдашней моде он носил крахмальные манжеты — на нихто и были запечатлены нотные знаки.

Больше всего Имре любил работать по ночам, когда все в доме спали и лишь луна обходила дозором свои небесные владенья. Сочиняя выходную арию Тасило из ”Марицы”, где есть такие слова:

”Нам светит лукаво
Луна с высоты...”¹

Имре наверняка передал и свое собственное настроение. Федора, героиня ”Принцессы цирка”, исполняя свою арию, тоже обращается к луне:

”Ах, эта старая песня,
Кому она не известна?..
Приди, любовь, приди,
Все истомилось в груди...”

А куда уносится в мечтах герцог в ”Герцогине из Чикаго”?

”Под луною, под сенью куста
В поцелуе сольются уста...”

И также при луне витает в счастливых грезах героиня ”Фиалки Монмартра”:

”Месяц глядит в окно...”²

Кстати, эту мелодию Имре сочинил специально для своего сына.

Сейчас уж и не упомяну, светила ли на небе луна, когда в два часа ночи отворялась дверь моей спальни. Тогда мы жили еще на бульваре 12 Ноября; ”кричальные” дни работы над новой опереттой только что остались позади. Дом был окутан таинственной тишиной.

Моего плеча касалась чья-то рука. Я ее стряхивала: от усталости невероятно хотелось спать. Но не тут-то было: рука теперь уже трясла меня за плечо.

– Верушка, – шептал мой мучитель голосом Имре. – Верушка, проснись. Ты должна это услышать.

Муж не отставал, пока я наконец не поднималась и в полусне не брела за ним в кабинет. Там стоял рояль с модератором. Имре проигрывал на нем рождавшиеся ночью мелодии без боязни нарушить чей бы то ни было покой.

¹ Перевод Е. Геркена.

² Перевод С. Болотина и Т. Сикорской.

— Изумительно! — сонно бормотала я.

Но от Имре нельзя было так дешево откупиться.

— Э, нет, изволь-ка выслушать другой вариант! — сердито говорил он.

И я должна была выслушивать второй вариант, третий, пока сон окончательно не слетал с меня. А потом мы вместе отправлялись в столовую. За время работы Имре всегда успевал проголодаться. Ну, а во время трапезы он подправлял, отшлифовывал только что написанные номера, и часам к четырем-пяти утра с делами было покончено. Ночи ему в первую очередь были нужны не для сна и не для того, чтобы проводить их с женой. Впрочем, я не совсем точна: разделять именно со мной свои ночные бдения стало для него привычкой. Тем более что он-то после них мог позволить себе отсыпаться по меньшей мере до одиннадцати утра.

”Фиалке Монмартра” была уготована типичная для этого скромного цветка участь. Люди с утонченным слухом, а также поклонники Кальмана радовались приятной, на французский лад изысканной музыке, а иные прошли мимо, не уловив ее прелести. Мы не присутствовали ни на одной премьере, а их, как это ни странно, было две. Право первой постановки Кальман уступил ”Иоганн Штраус-театру”, этому исконному оплоту искусства оперетты, поскольку театр переживал серьезные трудности. Ну и, кроме того, именно здесь впервые увидели свет рампы ”Королева чардаша”, ”Фея карнавала” и ”Голландочка”. Теперь же, в 1930 году, театр доживал свои последние дни, и нам пришлось примириться с тем, что оформление спектакля оставляло желать лучшего. Публика не выразила особого восторга, даже несмотря на то, что состав был первоклассным. Приглашенная из Оперы Адель Керн исполняла главную женскую партию, а популярный тенор Ганс Гейнц блистал в ведущей мужской роли. После ста десяти представлений, прошедших при неполном зале, мой муж забрал свое детище обратно. Занавес ”Иоганн Штраус-театра” опустился в последний раз, в этом помещении отныне воцарился кинематограф.

Еще одной премьерой ”Фиалка Монмартра” была обязана театру ”Ан дер Вин”. На этот раз постановка оказалась великолепной. И новая оперетта вскоре завоевала сцены французских, португальских и немецких театров. В берлинском

”Метрополе” публику впервые покорила Гитта Альпар. Эта темпераментная блондинка, что называется, пришла, победила и... влюбилась — в Густава Фрëлиха.

Мы с Имре отравились в Берлин, чтобы посмотреть игру Ганса Альберса, которого оба очень любили. Альберс и Рита Георг исполняли ведущие партии в ”Королеве чардаша”. Постановка оперетты была возобновлена в ”Адмиральспа-ласте” и пользовалась невероятным успехом.

Через год экраны Берлина и Вены обошел фильм ”Ронни”, поставленный на студии ”УФА” режиссером Рейнгольдом Шюнцелем. Главные роли в нем исполняли Като Надь и Вилли Фрич, а музыку к фильму написал Кальман.

Вскоре два берлинских литератора, Рудольф Шанцер и Эрнст Веллич, предложили Имре в качестве либретто весьма увлекательную пьесу из жизни венгерских гусар-гонведов¹. Новую оперетту Кальмана ”Дьявольский наездник” 10 марта 1932 года представил публике театр ”Ан дер Вин”. Главную партию пел сам директор театра Губерт Маришка.

В том же году мы переехали в венский район, где жила богатая городская знать. Дворец Кальмана находился на Газенауэрштрассе.

Мы переживали расцвет славы. На вечерах в нашем доме появлялись все знаменитости и влиятельные лица разных рангов. Приемы эти устраивала я, а наша непревзойденная кулинарка Мария Первич поражала воображение гостей поистине королевскими яствами. Хотя я часто ходила на приемы в разные дома и делала это с большой охотой, все же лучше я себя чувствовала в роли хозяйки на балах и приемах, устраиваемых мною в собственном доме.

В противоположность мне супруг мой отличался величайшей скромностью. Блистать в свете, закатывать балы и приемы — подобные амбиции были абсолютно чужды его натуре. Больше всего ему были по душе скромные застолья в небольшой дружеской компании — например, в обществе Эриха Марии Ремарка. Если же в доме давался большой званый вечер, то Кальмана скорее всего можно было обнаружить в кухне, под защитой нашей кухарки. Мария Первич стояла у плиты, создавая шедевры кулинарного искусства, а мой муж в обществе Ремарка и Ференца Мольнара уютно располагался за кухонным столом.

¹ Гонвед (венг. *honvéd*, букв. — защитник отечества) — название солдат венгерской армии в середине XIX — 1-й половине XX века.

Как-то раз во время одного из таких приемов на кухню проник незнакомый человек.

— Простите, господин Кальман, разве не вы здесь хозяин дома?

— Да вроде бы я, — улыбнулся Имре.

— Тогда отчего бы вам не присоединиться к гостям? Ведь у вас собралось такое общество — человек триста, не меньше.

— Видите ли, — пояснил ему Имре, — всякий раз, когда моя супруга дает прием, среди приглашенных бывает дай бог если десять процентов моих знакомых. Так что я предпочитаю отсиживаться в компании добрых своих друзей на кухне, где можно вволю поесть и выпить. Впрочем, сегодняшняя вечер — исключение, — он лукаво подмигнул собеседнику. — Сегодня среди собравшихся пятнадцать, а то и двадцать процентов людей, мне знакомых.

Нежданный посетитель оказался знаменитым американским журналистом. О моем муже он написал для своей газеты большую статью, заканчивавшуюся следующими словами: "Имре Кальман сказал истинную правду. Ведь, знай он, что имеет дело с журналистом, он ни за что не пустился бы в такую откровенную беседу со мной".

— Вас спрашивает какая-то индийская принцесса, — однажды доложила мне горничная. — Мата Хари или что-то в этом роде.

"Мата Хари" в действительности оказалась магарани, женою капурского магараджи. Величественной поступью проплыв по комнате, она вдруг бросилась мне на шею.

"Мир тесен", — подумала я: ведь магарани была не кто иная, как Нина, моя бывшая приятельница по пансиону "Централь". В свое время Нина вышла замуж за шестидесятилетнего магараджу, обладателя несметных богатств, а сейчас услаждала себя путешествием по Европе.

Нельзя ли ей прийти к нам с мужем?

— Разумеется! — ответила я.

Но Имре был не в восторге от предстоящего визита. Экзотические персонажи нравились ему в опереттах, а не в жизни.

Гости все же явились. Мы готовились к приему двух персон: индийского владыки и его супруги — а они прибыли в сопровождении всей своей свиты, то бишь сорока человек.

Пришлось нам на ходу перестраиваться и вместо предполагаемого обеда потчевать гостей холодными закусками.

Магараджа, прежде чем сесть к столу, потребовал таз с водой, мыло и полотенце, чтобы на глазах у всех совершить омовение рук. Согласно обычаям родного края он намеревался проделать такую же церемонию и с ногами и лишь по просьбе Нины отступился от этого своего намерения.

Позднее, когда мы жили в Америке, я часто вспоминала их визит, поскольку все чаще стала получать от Нины письма, в которых она жаловалась: больше ей не выдержать. Письма она посылала разными обходными путями и всячески молила вызволить ее в Америку.

Развязка приближалась ускоренным темпом. Внезапно умерла нянька Нины: как оказалось, ее отравили. Месяц спустя умерла Нинина мать — тоже от яда. Соглядатаи донесли правителю, что супруга намеревается его покинуть. Старый магараджа призвал жену к ответу. У Нины собралась богатейшая коллекция драгоценностей, но она готова была все оставить, лишь бы муж разрешил ей уехать в Америку или в Европу. В ответ — в качестве предостережения — жертвой отравления пал врач Нины. В конце концов ей все же удалось вырваться из дому, а мы со своей стороны сделали все, чтобы Америка предоставила ей убежище. История Нины сделалась достоянием печати, и за три дня до ее предполагаемого прибытия я прочла в газетах, что моя приятельница находится в Дели, а оттуда полетит в Америку.

За день до вылета Нине в гостиницу позвонил какой-то человек и сказал, что его знакомый, которого Нина знает, поскольку тот способствовал ее отъезду, хотел бы поговорить с ней, прежде чем она покинет страну. Местом встречи была назначена площадка у одной из знаменитых башен Дели. Нина отправилась туда, прихватив с собой собачку. Обе они не вернулись обратно.

Когда самолет из Дели приземлился и Нины среди пассажиров не оказалось, мы обратились в консульство. Однако не успели мы получить оттуда ответ, как все газеты сообщили страшную весть: таинственный "знакомец" сбросил Нину вместе с собачкой с самого верха башни, а затем отрезал мертвой женщине голову. Нинин багаж в тот же день был отправлен обратно в Капур. Потом мы узнали, что вскоре после этой кровавой мести умер и сам магараджа.

В Европе еще задолго до трагической гибели Нины стрелка политического барометра стала показывать бурю. Наверное, одна только я ничего не замечала. На смену золотым двадцатым годам пришли кошмарные тридцатые. На юге Европы раздавались истерические выкрики "Дуче, дуче!", на севере — "Хайль Гитлер!". В Абиссинии полыхал пожар войны, тысячами гибли люди, а вскоре небом над Испанией завладели немецкие истребители. И все это в мирное время!

Имре понимал, что происходит. Его лицо, и без того вечно хмурое, мрачнело все больше. Для меня же все эти ужасы происходили "за границей", а жизнь в Вене пока еще была так прекрасна!

Как-то мы с Имре проезжали мимо центрального венского кладбища, где стоит памятник Моцарту, где покоится прах Бетховена, Брамса, Шуберта, обоих Штраусов, Глюка, Ланнера, Миллёкера...

— Когда-нибудь и я буду лежать здесь, — сказал мне муж. — А потом и ты, Верушка... рядом со мною.

— Спасибо, заранее рада этому! — ответила я с безразличием молодости.

Мне хотелось жить, а не предаваться, подобно Имре, мрачным мыслям. На лето мы снимали виллу на берегу Вольфгангзее. Когда начинали цвести розы, мы частенько наведывались в Ишль, где также снимали квартиру. Повсюду с нами ездила кухарка Мария Первич. Сынишка Карли мечтал обзавестись живым гусем, и наши друзья сделали ему такой подарок. Ребенок был счастлив, но гусь целыми днями гоготал и мешал Имре работать.

— Гуся придется убрать, — распорядился Имре. — Для Карли мы заведем какое-нибудь другое животное, не такое шумливое.

Кухарка забрала птицу, и Карли вскоре позабыл о ней. В один прекрасный день из кухни поплыл аппетитнейший запах гусяного жаркого.

— Где же вы хитрились раздобыть гуся в самый разгар лета? — удивился Имре.

— У Карли взяла, вы же сами велели, — равнодушно ответила кухарка.

— Ах, вот оно что! Тогда я от своей порции отказываюсь. Не в моих привычках поесть своих личных знакомых.

В перерывах между рожденьями очередных детей, прочими событиями семейной жизни и приемом гостей Имре ра-

ботал над новой опереттой, дав ей название "Императрица Жозефина".

— Почему ты взялся за эту тему? — спросила я. — Чем привлекла тебя эта француженка?

Имре ответил без тени шутки, очень серьезно:

— Я хочу увековечить тебя. Когда мы познакомились, ты была невинное дитя, прелестная, как фиалка. А теперь я пишу в твою честь "Жозефину".

Каким фейерверком ревности, радости и веселья казалась жизнь! А между тем облик Европы менялся изо дня в день, менялась и направленность ее устремлений. Так, например, даже в Вене упал интерес к оперетте. Мой муж передал право на первую постановку "Жозефины" цюрихскому городскому театру. Премьера состоялась 18 января 1936 года. Венская Опера планировала поставить ее через два года с Ярмилой Новотной и Ричардом Таубером.

И тут границы страны были нарушены: немецкие солдаты вторглись в Австрию, которую отныне стали называть "Восточной маркой". Йозефу Бюркелю было вменено в обязанность осуществить "воссоединение" "Восточной марки" и рейха. Бюркель оповестил Имре о том, что по распоряжению фюрера его произведут в почетные арийцы — так же, как супругу Ференца Легара.

— Благодарю, — ответил Имре, — но принять этого не могу. Я покину страну.

Мне же он сказал:

— Мы — венгры, а стало быть, надо обратиться к адмиралу Хорти.

— Да вы шутник! — удивлялись знакомые. — Неужели вы воображаете, будто нацисты вас так и выпускают?

Нас, Кальманов, тревожили мелкие заботы будничной жизни. Вечерами в доме звучал граммофон, без этого наш "наследник" не желал засыпать, а по утрам он изобрел для себя другую забаву: тормошить отца.

Для Имре Кальмана каждый день начинался с тяжелого пробуждения. Он открывал глаза уже заранее в дурном настроении, хмурый и неприветливый. Еще до появления на свет Карли я по-русски записала в своем дневнике (ведь больше некому было пожаловаться!): "По утрам я всякий раз пугаюсь при виде этого неприветливого человека. В сущности, он просыпается лишь во второй половине дня. Каково мне при моем оптимизме сносить этого закоренелого пессимиста? Боже милостивый,

пошли ему с утра хорошее расположение духа!"

К Имре нельзя было подступиться, пока он не выкурит свою первую сигару. Лишь Карли, наш сынишка, не желал замечать мрачные тучи, каждое утро застилавшие небосвод отцовской спальни. Он бесстрашно вторглся в логово льва, и угрюмые складки на отцовском лбу разглаживались. Кальман большой и Кальман маленький возились и барахтались в постели, как два беззаботных щенка. Именно с этой картиной связаны у меня незабываемые воспоминания о начале тридцатых годов.

Карли и Лили — сестренка была двумя годами моложе — уже пошли в школу. В семье оставалась лишь одна малышка, с которой Имре мог продолжать свои нежные забавы: полуторагодовалая Ивонка. Однако к тому времени тучи сгустились уже не над отцовской спальней, а надо всем нашим домом, грозя раздавить его.

Собственная судьба Имре не тревожила, он беспокоился только за детей. Безграничная любовь к ним подталкивала его на тот шаг, который он никогда не решился бы сделать ради себя самого: он собрался покинуть родину.

Вена была сплошь усеяна свастиками.

Мы попросили аудиенции в будайской крепости, где высоко над украшенным четырьмя львами мостом через Дунай обосновался Миклош Хорти; в ту пору ему сравнялось семьдесят лет.

— Поезжайте за границу, Кальман! Я помогу вам, насколько это в моих силах, — такими словами встретил Кальмана регент. И добавил: — Творите и впредь такую музыку, которая способна покорить мир. — В заключение беседы Хорти вновь настойчиво повторил: — Вам необходимо уехать за границу. Я сделаю все, чтобы вы с семьей могли беспрепятственно покинуть страну.

Тем самым вопрос был решен, и мы почувствовали себя уверенней.

Из официальной резиденции Хорти далеко виден Пешт, Дунай, прекрасный остров Маргит. На другом берегу в море домов затерялись улицы, по которым Имре ходил в школу, в университет, в Академию музыки, где обучался вместе с Бартоком и Кодаем, или в редакцию "Пешти Наplo", где сотрудничал с Ференцем Мольнаром.

Пока мы в автомобиле спускались с Будайских гор вниз, Имре безмолвно созерцал знакомые дома, мосты, площади, памятники. Он молча прощался с Будапештом. Прощался навсегда.

В нашем венском дворце на Газенауэрштрассе было более тридцати комнат.

В дом явились таможенные чиновники, и под их присмотром проходили все наши сборы. Мебель мы переправили в Швейцарию. Город, который столько раз являлся свидетелем его триумфа, Имре Кальман покидал в сопровождении официального эскорта.

С нами уезжали кухарка Мария Первич и воспитательница наших детей. Остальные слуги плакали при расставании и махали нам вслед, когда мы на двух машинах — впереди, в "мерседесе", я, затем в "кадиллаке" мой муж с детьми, кухаркой и бонной — тронулись в путь. Прощай, кальмановский дворец! Он стоит и по сию пору, хотя и подвергся некоторым переделкам. Сперва в нем разместился немецкий госпиталь, затем русские выхаживали здесь своих раненых, американцы отдали его под одно из учреждений ООН, а потом он был продан жилищной компании под частные квартиры. Дом окружал обширный парк с дорожками, обнесенными изящно подстриженной живой изгородью. Сколько же прогремевших на весь мир мелодий родилось здесь!..

На границе нас, конечно же, задержали: возем ли мы с собой деньги и драгоценности? Мы указали на венгерский флажок, прикрепленный к машине, предъявили венгерские паспорта, после чего нам было разрешено проследовать дальше.

Переночевать мы решили в Бад-Рейхенхалле. У каждого перекрестка, развеваясь на ветру, колыхались флаги со свастикой.

— Ты только взгляни на эту уйму флагов! — шепнул потрясенный Имре. Мы не узнавали хорошо знакомые места и радовались, что на следующее утро сможем уехать отсюда. Не останавливаясь в пути, мы пересекли Южную Германию и въехали на территорию Швейцарии. Снабженные официальными документами, мы путешествовали совершенно легально. И все же это не было путешествием: мы бежали, спасая свою жизнь. В тот год (1938) Имре исполнилось пятьдесят шесть лет.

Целью нашего путешествия был Цюрих, мы остановились в том же отеле, где не раз бывали в последние годы.

— В Цюрихе мы и останемся, — заявил Имре; он любил этот город, любил озеро. Мы прожили там несколько недель, и Имре стал поговаривать о том, чтобы купить виллу.

Мне эта идея не нравилась, равно как и сам Цюрих:

все в этом городе было какое-то убогое.

— Нет, — сказала я. — Нам с тобой место в Париже.

И в угоду мне мы переехали в Париж, сняв дом на авеню Фош. Будучи русской, я обожала Париж, чувствуя себя там как дома. А Имре без устали уговаривал меня ехать дальше: он-то уже расслышал звуки военной тревоги.

В прошлом году нам не удалось как следует отметить пасхальные праздники: будущее рисовалось в таком мрачном свете, что настроение у всех было похоронное. И вот теперь мы впервые праздновали пасху на чужбине. "На сей раз в этот день не так скверно на душе, как в предыдущие годы, — писал мне Имре в поздравительной открытке. — Благодарю тебя за драгоценнейшую дружбу, священные доказательства которой ты дала мне в последние месяцы. Благодарю за то, что ты чувствуешь: мы принадлежим друг другу. А значит, мы впятером составляем нерасторжимое единство. Молю бога, чтобы так и оставалось впредь".

Мы попытались вести тот же образ жизни, что и прежде. Я давала вечера, и вскоре у нас сложился определенный круг друзей, к которому относился и Жозеф Поль-Бонкур, министр иностранных дел Франции.

— Ни за что не уедем из Парижа, — твердила я.

— Я должен думать о спасении детей, — вновь и вновь отвечал Имре. На этой почве у нас даже возникали ссоры.

Между тем уже была разорвана на части Чехословакия, кусок от нее достался даже Венгрии. А европейские политики заключили в Мюнхене соглашение с Гитлером — "во имя сохранения мира". Я не верила, что начнется война, хотя Гитлер вскоре протянул лапы к Мемелю¹.

Имре больше не вступал со мною в споры, он принял решение.

— В Париже я не останусь. Уеду с детьми в Америку. Если ты останешься здесь, то наши пути разойдутся.

Он так и сказал: "наши пути разойдутся", — желая меня предостеречь. Эти слова запали мне в память и даже более того — вскоре обрели самостоятельную опасную жизнь.

Поль-Бонкур принял сторону Имре, ему как министру иностранных дел было ясно, что катастрофа приближается.

— Ты должна ехать с мужем и детьми, — уговаривал он меня. — Ты *должна* уехать в Америку.

За месяц до начала войны Имре отправился в амери-

¹ Так по-немецки назывался литовский город Клайпеда.

канское консульство. Виза была нам выдана незамедлительно.

“Конте де Савой” — так назывался пришвартованный в генуэзском порту пароход, на котором нам предстояло отправиться за океан. В ожидании отплытия мы жили в гостинице “Мирамаре”.

С какой же грустью укладывала я вещи, собираясь в дорогу. До чего не хотелось мне покинуть нашу виллу в Париже на авеню Фош! Пожалуй, несмотря ни на какие доводы, я все же отказалась бы уехать, не раздаваясь по ночам жуткий вой сирен. Как-то раз, когда сигнал воздушной тревоги вновь погнал нас в убежище, Лили укоризненно пробормотала спросонок: “Мама, в следующий раз, пожалуйста, разбуди меня за полчаса до тревоги, а то я не успеваю собираться”.

В моем настороженном отношении к Америке отчасти была повинна и оперетта, репетиции которой шли как раз в то время, когда мы познакомились с Имре. Ведь мне часто приходилось слышать, как в “Герцогине из Чикаго” поется:

“Ты знаешь ли, что ждет тебя в Чикаго?

Найдется ли в Нью-Йорке добрый друг?..”

Город, где мы с лихорадочным нетерпением дожидались отъезда, был богат и прекрасен, но мы этого не замечали. И мужу, и мне было безразлично, что Генуя — четвертый по величине город Италии, важнейший порт на Средиземном море и резиденция епископа, что улицы ее оглашаются звоном семидесяти храмов. В тот момент нас мало трогала восхитительная красота купола Сан-Лоренцо, и нам даже в голову не приходило, что несколько веков назад в этом городе родился человек, по стопам которого мы намеревались отправиться: Христофор Колумб. Нас волновало лишь одно: как можно скорее тронуться в путь. И волнения наши были умножены втрое: дети, все трое, как по команде разболелись, подцепив, очевидно, друг от друга тяжелую ангину. Приходилось опасаться, что с такими больными детьми нас не пустят на пароход, несмотря на все наши надежные документы.

Карли, правда, пошел на поправку, но у обеих девочек все еще держалась высокая температура. Выглядели они ужасно: в лице ни кровинки, губы синие, под глазами темные круги. В день отъезда я укутала дочек потеплее, а в

автобусе по дороге в порт даже загримировала их, чтобы предательская бледность не так бросалась в глаза. Никто ничего не заподозрил — ни при проверке паспортов, ни на пропускном контроле у трапа. Мы выждали, пока пароход отплыл, затем уложили больных детей в постель и вызвали судового врача.

Карли вскоре выздоровел и много времени проводил на палубе, крутясь вокруг одной американской супружеской пары. Американцы стали расспрашивать его, кто он да откуда, далеко ли держит путь. Узнав, что перед ними сын композитора Имре Кальмана, они пригласили нас к своему столу. Мужчина оказался не больше не меньше как Самнером Уэллсом — советником президента Рузвельта по внешнеполитическим вопросам, а по занимаемой должности помощником государственного секретаря. Большую часть пути мы провели вместе с Уэллсом и его супругой, и это было, пожалуй, самое приятное знакомство на пароходе. Ну и, безусловно, самое полезное.

— Мистер Уэллс, — обмолвилась я как-то раз, — вид на жительство у нас действителен всего на три месяца. — (В ту пору на более долгий срок их и не выдавали.) — Помогите нам остаться в Штатах!

— Если у вас возникнут хоть малейшие трудности, тотчас же обращайтесь, — откликнулся он. — Меня всегда можно застать в Вашингтоне.

И Уэллс сдержал свое обещание.

Из истории известно: некий французский монах-иезуит, побывав в Новом Амстердаме XVII века, насчитал среди жителей города представителей восемнадцати наций. Теперешнее название этого города — Нью-Йорк.

В конечном счете мы ведь тоже прибыли из Франции, и на первых порах у нас сложилось впечатление, словно мы попали в живой круговорот отнюдь не восемнадцати наций: все племена-народы мира были представлены здесь, и все куда-то бежали, спешили, толкались, суетились, оживленно жестикулировали и говорили, говорили наперебой каждый свое. Возможно, это впечатление усиливалось международной ярмаркой, которая проходила как раз в это время.

Гостиницы, из тех, что поприличнее, были забиты до отказа. Нам удалось снять кошмарный номер в центре города, среди невыносимого шума. Мы с Имре уединились в своей двухместной клетушке и сразу же легли, сраженные скорее усталостью, нежели обилием впечатлений. Под неумолчный уличный шум я забылась сном, а проснулась от страшного грохота и треска где-то рядом: оказалось, что под Имре рухнула кровать.

— Уж это ли не дурное предзнаменование! — саркастически заметил он, выбираясь из-под обломков.

Я-то, конечно, была настроена по-другому, чувствуя себя, как Вильгельм Завоеватель, предводитель норманнов. Достигнув британских берегов, он упал с коня, однако при этом у него хватило самообладания, ухватившись за землю, воскликнуть: "Я держу тебя в руках и удержу, Британия!" Кальман же не переставал стенать, что здесь добра не жди, в этой стране его подстерегает гибель, — такова уж была его натура: каждую пятницу и тринадцатого числа каждого месяца он просыпался, трепеща от страха. А ту первую ночь на американской земле он так и не сумел забыть.

— Боже, до чего шумная и неприветливая страна! Тут пропадешь, и ни одна живая душа тобой не поинтересуется.

Едва он успел проговорить эти слова, как зазвонил телефон: Грейс Мур, видная певица и прославленная кинозвезда, желала побеседовать с Имре.

— Как я рада, что вы здесь! — воскликнула она. — Вы непременно должны побывать у меня в воскресенье. Мой дом находится в Коннектикуте, в нескольких милях к северу от Нью-Йорка. Разумеется, я пришлю за вами машину.

И вот в ближайшее воскресенье Грейс Мур угощала нас кофе на террасе своего дома, откуда открывался дивный вид на голубой плавательный бассейн и тщательно ухоженный сад.

— Кальман, — начала разговор певица, — вы ведь написали "Императрицу Жозефину". Мне во что бы то ни стало хочется сыграть главную роль, но я желаю, чтобы режиссером был Эрнст Любич. Вы не возражаете?

Какие уж тут могли быть возражения!.. И актриса тотчас же отправила в Голливуд Любичу телеграмму следующего содержания: "МУЗЫКА БОЖЕСТВЕННАЯ. РОЛЬ ПРОСТО СОЗДАНА ДЛЯ МЕНЯ И Я ГОТОВА ИЗМЕНИТЬ ВСЕ СВОИ ПЛАНЫ. ДОБЬЮСЬ ТАКОЙ СТРОЙНОСТИ ФИГУРЫ КАКОЙ ВЫ ОТ МЕНЯ ПОЖЕЛАЕТЕ ЛИШЬ БЫ НЕ УПУСТИТЬ РОЛЬ. ГОСПОДИН КАЛЬМАН К ВАМ ОБРАТИТСЯ САМ. 28 МАЯ ПРИЛЕЧУ В ГОЛЛИВУД. ВСЕГО ДОБРОГО. ГРЕЙС МУР".

— Ваше место в Голливуде, — сказала Грейс на прощание. И этот ее добрый совет оказался последним в жизни. Все планы и надежды этой замечательной женщины перечеркнула смерть. Самолет, которым улетела Грейс Мур, разбился.

Нам пришлось пересечь весь огромный континент, чтобы попасть в Калифорнию, а точнее, в Голливуд — обетованную землю кинематографа. Получив телеграмму Грейс Мур, нас вызвал к себе сам Луис Б. Майер — директор студии "Метро-Голдвин-Майер", человек, сделавший звезду из Греты Гарбо (хотя и не он был первооткрывателем ее таланта). К тому времени студия уже располагала правом экранизации "Марицы".

Поначалу мы обосновались в гостинице "Беверли-Хиллз", а затем сняли сравнительно недорогой дом с плавательным бассейном, с шестью роялями и даже с органом в придачу. Правда, у всех роялей звук оказался скверный, так что пришлось взять напрокат еще и седьмой.

Мы находились на студии — шло прослушивание Джанет Макдоналд, претендентки на роль Марицы, — когда к нам подлетел какой-то невысокий человек с толстой сигарой в зубах.

— Имре, выходит, ты уже здесь, а у меня так и не объявился!

Человек с сигарой и мой муж заключили друг друга в объятия. Оправившись от неожиданности, Имре познакомил нас:

— Верушка, моя жена. А это — Эрнст Любич.

В тот же вечер мы были приглашены к Любичу, где собралась большая компания "выходцев из Европы", в том числе Конрад Фейдт с супругой. Два дня спустя нам пришлось нанести визит Валери фон Мартенс и Курту Гёцу, и приглашения посыпались на нас одно за другим. Мы уже не могли придумать, под каким предлогом от них уклониться.

Луис Б. Майер, бывая у нас, всякий раз приносил моему мужу толстые сигары, прозванные "сигарами Черчилля".

— Держи, это тебе подарок, — говорил он. А представитель фирмы, занимавшийся у Майера составлением контрактов, в таких случаях ворчливо замечал:

— Опять одариваешь Кальмана такими дорогими сигарами...

— Ты возьми себе на заметку, — отшучивался Майер, — а потом мы у него удержим из гонорара.

Времена были суровые, но жили мы весело. Соединенные Штаты тогда еще не вступили в войну, и все слухи о том, что творится в охваченной военным пожаром Европе, казались нам невероятными. У нас снова был свой дом, машина, телефон, и по телефону звонили друзья. Однажды — это было где-то на второй неделе нашего пребывания в Америке — раздался звонок. Имре снял трубку, а затем передал ее мне.

— Тебя спрашивает некий Карл Фройнд. Уж не тот ли оператор, который снимал фильмы с Гретой Гарбо и сделал такую головокружительную карьеру?

Я выхватила у него трубку и услышала знакомый голос:

— Птенчик? Это я, Карл...

Мы засыпали друг друга вопросами.

— Господи, Карл, сколько же мы не виделись, лет пятнадцать, наверное?.. А откуда ты узнал, что я вышла замуж за Имре Кальмана?

— Да кто-то мне об этом рассказывал. Кажется, Билли Уайлдер.

— Карл, мы непременно должны встретиться! Приходи к нам, пожалуйста!

— Я бы с радостью, но по уши завяз в работе, у меня множество контрактов со студией "Метро-Голдвин-Майер". Сегодня мне никак не выбраться. Приезжайте-ка лучше вы завтра ко мне на ранчо! У тебя ведь есть дети? Ребятам у нас полное раз-

долье, много лошадей, кур и всякой другой живности. Забирай с собой мужа и все семейство. Вот уж влать наговоримся!

И мы поехали на ранчо. Хозяйка дома Труда Фройнд встретила меня как добрая старая приятельница. Дети были счастливы — они даже катались верхом. А мы четверо: Карл и Труда, Имре и я — сидели за столом, сперва потягивая коктейли, затем коротая время за ужином, и предавались воспоминаниям... В памяти оживали события нелегких, но прекрасных времен. Я жила тогда в Берлине, в пансионе на Грольманштрассе. Дочь хозяйки пансиона, моя ровесница (нам обеим было по пятнадцать лет), увлекалась декоративно-прикладным искусством и училась в художественной школе. Обе мы подрабатывали в театре "Метрополь", выступая в оперетте Имре Кальмана "Марица". Подружка устроилась туда первой — статисткой в группу детей, а затем вовлекла и меня. В начале пьесы мы, стоя рядом, пели здравицу в честь дня рождения героя: "Илушка, Розика..."

Кстати, именно там, в "Метрополе", я впервые увидела Имре Кальмана. Это был незабываемый эпизод. Шульц, директор театра, организовал торжество в честь юбилейного представления, куда были приглашены даже девчонки-хористки. Фойе было декорировано огромным полотнищем красного бархата, стол ломился от холодных закусок и всевозможных деликатесов.

Выставленные напитки нас с подружкой не интересовали, обе мы накинулись на еду. Наевшись досыта, мы решили было захватить сверточек с бутербродами для хозяйки пансиона, матери моей подружки, но за этим занятием нас застал распорядитель.

— Вы что, спятили? Ешьте, пейте, сколько влезет, но никаких свертков с собой не брать!

Вдруг грянул оркестр, и зазвучали арии из оперетты:

"Светик мой
Будь со мной,
Будь всегда со мной!"

"Можно ли жить, о тебе не сучая,
Мой Пешт, мой Пешт родной?!"

"Эй, цыган, эй, цыган, песню мне пой!
Сердце мне песней успокой!"¹

¹ Перевод Е. Геркена.

Собравшиеся дружно подхватили пение, сгрудившись вокруг молчаливого, скромного человека, попыхивавшего солидной сигарой. Это и был Имре Кальман. Время от времени он приветственно взмахивал рукой, а с теми из актеров, кто стоял поближе, обменивался рукопожатиями. В какой-то момент я тоже протолкалась к нему.

— Уважаемый маэстро, нельзя ли попросить у вас автограф?

Он мгновенно ответил вопросом на вопрос:

— Вы венгерка?

— Нет, я русская.

Автограф я получила, а затем меня сразу же оттеснили от него...

Мы делились вслух воспоминаниями, и Берлин очутился вдруг близко-близко, совсем рядом. А между тем целое земное полушарие отделяло нас от города на Шпрее, откуда в ту пору бежало множество прославленных людей — и по большей части сюда, в Америку.

Мужу также запала в память та короткая сцена в фойе театра. Воспоминание, по-видимому, было приятным, так как он улыбнулся мечтательно и чуть грустно.

— Подошла ко мне какая-то взбалмошная русская девчонка и беззастенчиво попросила автограф. Какая наглость, подумал я про себя.

Наше знакомство с Карлом Фройндом произошло совсем при других обстоятельствах.

Однажды вечером моя подружка прибежала страшно взволнованная.

— Маризтта! — закричала она с порога. (Такой был у меня псевдоним, звучный, не правда ли?) — Ты слышишь, Маризтта, для фильма "Метрополия" набирают статистов. Если съемки пойдут в ночное время, то можно заработать по полсотни марок!

— А что нам нужно будет делать?

— Ровным счетом ничего! Нас нарядят как куколок, загримируют, станем все до одной похожи на Марлен Дитрих, да еще и деньги получим!

— Вот здорово!

Разумеется, в действительности все выглядело иначе. Прежде всего нам пришлось идти на биржу: у вокзала тогда действовала подлинная биржа статистов, там мы и сидели в

ожидании. Затем появилась группа: несколько мужчин, и среди них господин с моноклем — режиссер Фриц Ланг, а рядом с ним какой-то ужасно толстый, но очень симпатичный тип.

— Кто этот толстяк? — шепотом спросила я у своей соседки.

— Карл Фройнд, знаменитый оператор.

Начался отбор: возьмем эту, эту и вот эту... "Вербовщики" дошли до нашего ряда, но даже не остановились.

И тут руководитель съемок, вдруг обернувшись, указал на нас:

— Возьмите всех женщин, какие тут есть!

"Мой милый друг, надень светлей наряд..."¹

В душе моей звучала мелодия из "Марицы", когда я на трамвае добиралась к месту съемок. В фильме участвовали Бригитта Хельм, Хайнрих Георге и Густав Фрелих — восходящие звезды на небосводе кинематографии.

Для шестнадцатилетней Бригитты Хельм это был ее первый фильм, а вообще-то она собиралась стать врачом-педиатром. Густав Фрелих работал в редакции провинциальной газеты, в своем родном городке вблизи Ганновера. Наиболее известный из всей троицы Хайнрих Георг Шульц — таково было подлинное имя Хайнриха Георге — начинал с должности служителя при штеттинской² городской управе.

Какая умопомрачительная карьера! Вдруг да и нам так же повезет?

— Где наши костюмы? — спросила я.

— Костюмы? Вот вам, держите! — И к нашим ногам свалилась грудa старого тряпья. — Закутайтесь в шали и будете изображать старух. По ходу действия вам предстоит захватить катакомбы.

Имелась в виду та сцена, где триста человек мужчин и столько же женщин бросаются в атаку, а Густав Фрелих тем временем спасает город. В фильме разыгрывались жаркие схватки, а у нас зуб на зуб не попадал от холода: ведь съемки шли по ночам. В пять утра, когда всходило солнце, нас распускали по домам.

В течение пяти дней я изображала женщину-рабочую, вместе со своими товарками шла на приступ, сносила тычки и удары.

¹Перевод Е. Геркена.

²Ныне город Щецин (ПНР).

Режиссер Фриц Ланг, как заправский генерал, отдавал приказы и безжалостно гонял нас по студии среди декораций фильма.

И всегда я видела где-то впереди толстяка-оператора в клетчатой кепке, темных очках и с теплым шарфом на шее.

Как-то раз на бегу я споткнулась возле самой камеры.

— В чем дело? — спросил он.

— Простите, меня толкнули, — ответила я.

Он вдруг внимательно посмотрел на меня.

— Вы иностранка?

— Да, русская, — прокричала я уже на бегу. Он что-то выкрикнул мне вслед, но я не расслышала, да, правду говоря, и не прислушивалась. С тех пор Карл Фройнд при каждом удобном случае норовил остановить меня. На пятый или шестой раз ему это удалось.

— Вы и есть та русская девушка? — огромной, мягкой ладонью он ласково провел по моей щеке и сдернул с меня шаль. — Вот это да! — воскликнул он. — Я, конечно, догадывался, что под этой маской скрывается какая-нибудь смазливая мордашка, но на такую юную красотку и рассчитывать не смел. Что вы делаете после съемок?

— Я? Да ничего особенного. Помчусь домой, приведу себя в порядок, займусь кое-какими делами...

— Может, согласитесь со мной позавтракать?

— С удовольствием... Скажите, а вы не могли бы открыть меня?

— То есть как это — "открыть"?

— Открыть во мне кинозвезду.

— Ах, вот оно что! Как знать, как знать...

И тем же утром в автомобиле Фройнда я мчалась к Ван-зее. Там у берега покачивалась на якоре старая барка — его собственное судно с уютным помещением внутри вроде бара. Мы расположились там, и Карл поведал мне всю свою жизнь, а я так же откровенно рассказала ему все о себе. Так началась наша дружба. Ни в какие другие отношения она не перешла, хотя Карл был мне очень симпатичен.

Я так прямо ему и сказала:

— Ты, Карл, женатый человек. Я же намереваюсь либо сделать карьеру, либо выйти замуж. Ну и, кроме того, — в этом он только что сам мне признался, — ты уезжаешь в Голливуд, а я остаюсь. Сам видишь, пути наши расходятся. Но я надеюсь, что мы еще встретимся.

И вот теперь эта встреча состоялась. Мы праздновали ее

на ранчо Фройндов неподалеку от Голливуда, а от студии "УФА", от добрых старых, нищенских, но исполненных надежд времен нас отделяли половина земного шара и чуть ли не половина человеческого века.

Я даже помнила, что шофера, который тогда служил у Карла, звали Шён, то есть "Красавчик".

— Но забавнее всего оказалась история с подкладкой, — сказала я.

И поскольку, кроме Карла, этот намек никому ничего не говорил, мне пришлось рассказать, как произошло наше с Карлом прощание в Берлине. Я не стесняясь поведала об этом в присутствии жены Карла и своего собственного мужа, ведь эта история была настолько характерна для людей той поры с их прихотливыми и щедрыми нравами.

На студии исподтишка сплетничали о том, что в Голливуде Карлу сулят фантастический гонорар. Да и сам он не скрывал от меня своих ожиданий.

— Через неделю я уезжаю, — сообщил наконец он, — и хотел бы сделать тебе прощальный подарок. Скажем, серебряные часики. Или золотые. Или какую-нибудь брошку. А может, платье или пальто, словом, любую вещь, которая будет напоминать тебе обо мне.

Я, ни минуты не раздумывая, решила сразу же взять быка за рога.

— Ну что ж, Карл, если ты так добр ко мне... тогда купи мне шубу.

— Нет, милая, ты слишком дорого просишь!

— Что для тебя эти деньги, если ты в скором времени станешь миллионером? — убеждала я его. — Платье, если уж очень понадобится, я и сама себе куплю. А вот шуба будет служить вечно.

Тогда я еще искренне так думала.

— Так уж и быть, малышка, — уступил он. — И какую же ты желаешь шубу?

— Беличью.

— Беличью? А сколько она стоит?

— Тысячи две-три.

Это ему было просто не по средствам.

— И не выдумывай! Такой дорогой шубы даже моя жена не носит.

— Ну ладно, — я решила поторговаться. — Тогда давай купим кротовую шубу.

— Тоже небось влетит в копеечку?

— В тысячу, — скромно проговорила я.

Карл озадаченно качал головой: безумие чистой воды выбрасывать такие деньги. Но затем, по недолгом размышлении, велел мне зайти к его скорняку, а тот подберет что-нибудь за полцены.

— О, спасибо тебе, Карл! — Я обняла его и помчалась к скорняку.

— Какую поставим подкладку? — осведомился тот. В этот момент меня осенила блестящая идея.

— Самую что ни на есть шикарную... а потом я из нее сошью себе вечернее платье. Господину Фройнду об этом, конечно, знать не следует. Когда он отбудет в свой Голливуд, мы спорем эту роскошную подкладку, а под ней останется обычная.

Мы отправились в мануфактурную лавку на углу Курфюрстендамм и купили бледно-голубой жоржет с цветочным узором.

— Давайте возьмем на метр больше, — заикнулась я. — Тогда хватит и на тюрбан.

Но тут мастер уперся:

— Нет уж, увольте! Господин Фройнд точно знает, что почем. Его супруге я шил кроличью шубу под котик.

Три дня спустя я в готовой шубе отправилась показаться Карлу Фройнду; дело было летом, и взмокла я с головы до пят.

Карл работал пока еще на прежнем месте, в районе Фридрихштрассе. При виде меня он пришел в полный восторг.

— Ты взгляни, какая у нее подкладка! — предложила я.

— Батюшки! — ахнул он. — Ты бы лучше носила ее наизнанку. Ну и во сколько же обошлось это удовольствие?

— В шестьсот марок... ну и четыреста за подкладку, раз уж сама шуба стоила так дешево.

Карл в первый момент утратил дар речи, но затем смирился.

— А, черт с ней! Пусть уж будет память надолго.

Через три дня он уехал, распрощались мы со слезами. Зато сколько смеха и веселья было сейчас, при свидании.

Встретились мы и с Билли Уайлдером. Во время съемок в "Метрополии" он был мало кому известен. Перебравшись из Вены в Берлин, он начал свою карьеру с деятельности журналиста, затем написал сценарий по повести Эриха Кестнера "Эмиль и сыщики". Ныне имя этого прославленного режиссера знает весь мир.

Сколько старых знакомых мы тогда увидели вновь, сколько новых друзей приобрели в 1939-м и в первые годы войны! Среди прочих нас посетил даже Отто Габсбург, наследник австрийского трона, и Имре нанял органиста, который в честь высокого гостя сыграл на нашем инструменте австрийский гимн. Мы часто бывали у Арнольда Шёнберга, родоначальника додекафонии, навещали писателя Франца Верфеля и его супругу Альму (которая раньше была женой Густава Малера), причем последнее наше свидание состоялось незадолго до смерти Верфеля. Встречались мы с замечательной писательницей Вики Баум, с супругами Цукмайер... И со всеми у нас до конца сохранились теплые, дружеские отношения.

Но в общем-то в Голливуде мой муж чувствовал себя не совсем уютно. Он не любил находиться в центре повышенного внимания, и всякие празднества, парадные манифестации были ему не по душе. Работа, творческая деятельность — здесь он чувствовал себя в своей стихии. Имре мечтал сочинять музыку к фильмам или опереттам.

Однако легкая музыка в ту пору была не ко двору, и с этим ничего не мог поделать даже сам всемогущий Луис Б. Майер. Мир захлестнула волна национализма, народ почуял запах сражений и в качестве зрелищ жаждал лишь изображения героических подвигов. Спрос на веселые темы резко упал. Имре понял, что в Голливуде лавры для него так и не зазеленеют, и мы переехали в Нью-Йорк. Первое наше жилье присмотрела я сама: удобная квартира в очень красивом доме с западной стороны Сентрал-парка. Обставлена квартира — как это и принято в Америке — была великолепно, и я заключила арендный договор на год. Жили мы на 11-м этаже, что уже само по себе было для нас волнующе непривычно. Вид из окон открывался непосредственно на парк, привратник и лифтер блистали роскошными ливреями, и я была очень счастлива, что сумела подобрать такую замечательную квартиру.

Во время первого нашего званого вечера (на нем появился, кстати, даже Джимми Уолкер, бывший мэр Нью-Йорка) все гости поочередно задавали мне вопрос, как это меня угораздило выбрать именно эту квартиру.

— А в чем дело? — Я никак не могла взять в толк, к чему они клонят. На этой квартире я остановила свой выбор, естественно, потому, что мы решили поселиться в западной части города. Я знала, что, например, в Берлине западные кварталы считаются наиболее изысканными.

— Верушка, на какой срок вы арендовали квартиру?

— На целый год, — с гордостью отвечала я.

— Господи, да неужели вы не знаете, что западная сторона предназначена для людей совсем иного ранга? В Нью-Йорке престижной считается как раз восточная часть города!

Эта новость весьма подпортила мое настроение, но Имре отказывался меня понять:

— Мне, например, абсолютно безразлично, в какой части города жить. Мы ведь не принадлежим к верхушке общества, в число первых десяти тысяч нам все равно не войти. Мы — беженцы. Нам придется жить на то, что у нас есть, а это не так-то просто, ведь я сейчас ничего не зарабатываю. Блаженным европейским временам настал конец, придется тебе, Верушка, перестраиваться. Сама посуди: сбережения у нас не ахти какие. Это вроде колбасы — чем больше отрезаешь, тем меньше остается. Поумерь свои запросы, будь поскромней! А квартиру мы менять не станем.

Имре настоял на своем.

Желая как-то пополнить семейный бюджет, я устроилась манекенщицей в меховой салон и, кроме того, обслуживала его покупателей. К нам заходили Грета Гарбо и Гэйлорд Хаузер. С Гретой Гарбо довелось заниматься мне: она заказала коричневое манто из шкуры жеребенка и впоследствии не раз навещала в наше заведение. Я трудилась за двести долларов в месяц, чтобы "колбаса" не слишком быстро убывала с семейного стола.

Как-то раз в салон заглянул мужчина, обратившийся ко мне по-французски, и с той поры стал частенько переступать порог...

Благодаря несравненному искусству Марии Первич слава о нашем доме вскоре разнеслась по всему Нью-Йорку. В первый же год я удостоилась титула самой хлебосольной хозяйки.

Кто только не перебивал в нашем доме: Пол Уайтмен, Ирвинг Берлин, коллега мужа по Академии музыки Бела Барток, Игорь Стравинский, певец-тенор Рихард Таубер, композитор Эрих Корнгольд, дирижер Юджин Орманди, Оскар Хаммерштейн, прославившийся фильмом "Оклахома". Разумеется, и мы тоже наносили визиты всем этим людям. Сдружились мы и с австрийской великокняжеской четой: Францем Иосифом, внуком и крестником императора — его мы знали еще по Вене, — и с его очаровательной супругой княгиней Мартой.

В Штатах княгиня стала известнейшим художником по интерьеру. Она обладала безупречным вкусом, великолепно умела пользоваться световыми эффектами, а изысканность у нее была, можно сказать, в крови; неудивительно, что ей была поручена отделка помещений испанского посольства в Вашингтоне и других ответственных зданий. Княжеская чета занимала роскошную квартиру на Пятой авеню. Мы часто бывали у них в гостях, они же в свою очередь не пропускали ни одного нашего званого вечера, ленча или обеда. Коулу Портеру принадлежит классическое высказывание, ставшее крылатой фразой: "Вот как должен жить каждый композитор!" На эту мысль его навела идиллическая картина нашей семейной жизни, поразившая его во время визита к нам.

Откуда ему было знать, что любителю он всего лишь пустыми декорациями. Как раз в тот майский день 1942 года я сказала Имре, что познакомилась в салоне с одним человеком и хотела бы получить развод.

Невыразимо трудно рассказать, трудно описать, как реагировал Имре на это мое заявление. Он молча ходил взад-вперед по комнате, а затем сел к столу и написал мне письмо, в котором трезво и реально оценивал ситуацию. Однако письмо это было исполнено такой глубокой трагической напряженности, что я лишь впоследствии сумела понять это по-настоящему. Там не было ни слова упрека, напротив:

"Верушка, позволь мне от чистого сердца выразить благодарность за твою любовь и доброту. Однако прожитого не зачеркнешь. Вот и сейчас, как неоднократно прежде, ты доказала, что привязана ко мне узами глубочайшей дружбы. И именно потому, что я так благодарен тебе за эту дружбу, я не имею права в последний момент все испортить своей сентиментальностью". Имре сам определил причину происшедшего между нами отчуждения: "Такая громадная разница в возрасте! Мой теперешний удел — оглядываться на прошлое и вспоминать добрые старые времена, а ты — молодая, цветущая, у тебя вся жизнь впереди. Моя музыка никому не нужна, зато твоя молодость и свежесть — сокровища, которые ценятся необычайно высоко. Не стоит тратить эти сокровища на человека вроде меня, который не умеет их ценить. Не сердись, что я столь трагически воспринял этот факт. Обещаю в дальнейшем подходить к таким вопросам более реалистически... А сейчас я думаю о том, что тебе не нравилась жизнь со мной, да и в будущем я вряд ли мог бы тебе нравиться. Ну что ж, выше голову. Целует тебя твой вечно любящий..."

Жизнь словно покатила под откос. И не только наша семейная, но и в масштабах всего мира. Америка тоже готовилась к войне.

В довершение всех прочих престижных наград мой муж удостоился ученого звания, став почетным доктором Нью-Йоркского музыкального колледжа. Он дирижировал в концертах, участвовал в исполнении собственных произведений с немеркнувшей "Королевой чардаша" во главе.

В сообществе с крупнейшим балетмейстером Джорджем Баланчиным и Лоренцем Хардтом, невероятно одаренным либреттистом, Кальман взялся за новую работу. Название звучало многообещающе: "Miss Underground" ("Мисс Преисподняя") – и стало для самого произведения роковым. В душе Лоренца Хардта угнездился истинный дьявол – "зеленый змий", он-то и свел талантливого человека в могилу. Понимая, что тот неизлечимо болен, мой муж обращался с ним, как с малым ребенком: по вечерам укладывал его спать, мы отбирали у него бутылки виски и дежурили у его постели, пока он не засыпал. Если, несмотря на все принятые меры предосторожности, Хардт по утрам все же не являлся работать, мы ехали к нему домой. Слуга-негр расстроено пожимал плечами: "Мастер Хардт проснулся среди ночи, оделся и ушел в ближайший бар..." Мы отправлялись на поиски и, как правило, обнаруживали его в каком-нибудь пользующемся дурной славой окраинном районе, где его никто не знал. Хрупкий, невысокий человек, напившись до бесчувствия, спал в углу – карманы вывернуты наизнанку, часы украдены. Но стоило его растолкать, как выяснялось, что он, конечно же, ничего не помнит.

Муж очень любил Лоренца Хардта: в редкие минуты трезвления тот сочинял прекрасные стихи. "You are in love, crazy little thing" ("Влюблен ты, юный сумасброд"), – так звучало одно из наиболее милых моему сердцу стихотворений.

Однажды, свалившись без памяти в каком-то холодном углу, Хардт долго пролежал на сквозняке, дело кончилось воспалением легких. С помощью супруги президента Рузвельта Имре раздобыл для него пенициллин. Однако организм больного был настолько ослаблен, что даже пенициллин не оказал должного действия. Вместе с автором ушла в могилу и "Мисс Преисподняя".

Свое предубеждение к музыке Гершвина я похоронила еще раньше. Создатель "Рапсодии в блюзовых тонах" присы-

лал Имре граммофонные записи всех своих произведений. В давние времена, еще в Вене, они настолько не нравились мне, что даже пластинки я не желала слушать. Но Карли в четырнадцать лет знал на память целиком всю "Рапсодию", а затем, уже в Штатах, под нажимом Имре я отправилась с ним слушать оперу Гершвина "Порги и Бесс". Поначалу меня привела в ужас история негра-инвалида, который по ходу действия все время ползает на коленях. Но затем я вслушалась в музыку и вдруг почувствовала, как она проникает в глубины моей души и сердца. Я была до такой степени захвачена этим впечатлением, что отныне старалась не пропустить ни одного спектакля. Как бы мне хотелось сейчас опуститься на колени перед Джорджем и попросить у него прощения, но было поздно: он скончался от опухоли мозга. Мой врач Саймон Раскин, причастный к открытию сульфаниламида, пытался спасти жизнь Гершвина, однако опухоль успела слишком разрастись.

Имре с самого начала питал страстную любовь к Гершвину и его музыке. Должно быть, его привлекала стихийная сила, первозданность, природная оригинальность этой музыки. Характерная черта натуры Кальмана: он восхищался всяческими проявлениями стихийной силы. Очень любил, например, фильмы о гангстерах: чем больше трупов, тем интереснее. Одно время в любимых писателях у него ходил Эдгар Уоллес. А уж до чего он обожал бокс! Когда в "Мэдисон-Сквер-Гарден" проводился грандиозный матч между Джо Луисом и, если не ошибаюсь, Максом Базром, он приобрел самый дорогостоящий билет, чтобы сидеть поближе к рингу и переживать все перипетии схватки.

А вот в любовной борьбе он спасовал; безропотно позволил мне уйти. Письма ко мне он подписывал так: "твой жестокий Имре", — поскольку мы условились, что причиной развода выдвинем "душевную жестокость"; в Штатах этот повод считался самым ходовым, в особенности для тех, у кого хватало денег ожидать развода в Рено.

Расстояние от Нью-Йорка до Рено примерно такое же, как от Берлина до Пакистана, и дорога туда занимает несколько суток. В ожидании бракоразводных свидетельств там собралось более двадцати женщин, в основном молодых и красивых. Все мы жили на ранчо — "Бельмонте Ранч": посреди обширной зеленой лужайки вразбивку стояли уютные бунгало, где нас поместили по двое, по трое. На уик-энд сюда могли наведываться гости: бывшие мужья с детьми, буду-

щие спутники жизни. А будни походили на веселые каникулы: мы только и знали, что ели-пили, болтали о пустяках, развлекались верховой ездой.

В этом райском уголке нужно было провести шесть недель, прежде чем вас объявят разведенной. Судебная процедура на здешнем жаргоне называлась "экзаменом", а бракоразводное свидетельство – "дипломом".

За эти недели я много раз звонила Имре. Он сам хотел этого: "Звони почаще! Правда, никогда еще мне не выставили таких колоссальных счетов за телефон, но мне так приятно слышать твой милый голос!" Незадолго до "экзамена" я получила от него очень грустное письмо: "На письменном столе, куда бы ни протянул руку, везде натыкаюсь на лужицы. Жара невыносимая, духота – дышать нечем, и влажность такая, что с потолка капает. Хорошо, Верушка, что ты от всего этого избавлена... Лишь два дня тебе осталось быть моей женой. Храни нас бог! Прощай, моя милая".

За несколько дней до получения этого письма первая красавица Рено, молодая женщина 22 лет, очень богатая и необычайно элегантная, со счастливым смехом обежала все домики.

– Прощай, "Бельмонте", завтра у меня "экзамен"! Девушки, я перебираюсь в отель и, как только получу "диплом", приглашу вас всех отпраздновать это событие.

Женщина эта питала пристрастие к крепким напиткам и потребляла их больше, чем все мы, вместе взятые. Я в ту пору даже не знала, какой он на вкус, этот алкоголь, и понять не могла, что хорошего люди находят в виски, когда Имре называл этот напиток "клопомором", а я его и вовсе в рот взять была не в состоянии. С тех пор я несколько переменяла свое мнение и не отказываюсь от рюмки водки или "штайнхегера" с пивом, но виски по-прежнему терпеть не могу.

Молодая дама получила "диплом", тотчас же переселилась в гостиницу и позвонила оттуда: "Все прошло без сучка без задоринки, жду вас к шести часам".

К тому времени, как мы до нее добрались, она была уже совершенно пьяна, от нее за версту разило алкоголем. Обняв поочередно каждую из нас, она заплетающимся языком пробормотала: "Наконец-то я развелась, как я счастлива! Да здравствует свобода!" Затем вскочила на подоконник и бросилась с седьмого этажа, навеки обретя свободу.

Получить развод с "жестоким" мужем мне не составило труда. Мой приятель снял для нас апартаменты в нью-йоркской гостинице "Уолдорф-Астория". Имре письмом простился со мной: "Жаль, что я теперь лишен возможности писать тебе. До того хорошо, до того приятно было каждый день выговориться, излить тебе душу. Что ж, Верушка, в добрый путь... Это мое последнее письмо. Надеюсь, ты сумеешь прийти в себя после бракоразводной процедуры. Молю бога сохранить и уберечь тебя".

Однако это письмо Имре оказалось не последним. После того как я отправила ему телеграмму, сообщая о своем прибытии в Нью-Йорк, он вынужден был мне ответить. "Мне сообщили: твой приятель знает, что мы переписываемся, обмениваемся телеграммами, поддерживаем связь по телефону. Поэтому я считаю разумным не приходить на вокзал. Это могло бы только повредить тебе..."

Имре не ограничился этим письмом. Он позвонил мне по телефону, поздравил с успешным "экзаменом" и с тем, что мне наконец-то удалось "освободиться от безжалостного, злобно рыкающего медведя. Но на вокзал я не приеду. Возможно, пришлю детей с мадам Алис" — гувернанткой, которую мы вывезли с собой из Парижа, — "ну, и в заключение хочу сказать, что рад был бы повидать тебя в ближайшие дни..."

— Да полно, Имрушка, — перебила его я, — приходи на вокзал, очень тебя прошу.

— Нет-нет, детка, не проси... День будет воскресный, и мысленно я проведу его с тобой.

Нью-Йорк. Большой Центральный вокзал. Воскресенье, восемь часов тридцать минут. К перрону подкатывает поезд из Рено; путешествие длилось три дня и две ночи. На вокзале меня встречал тот самый человек, ради которого я решилась на развод. Он сообщил, что мы будем жить на сороковом этаже гостиницы "Уолдорф-Астория", и отошел получить мой багаж.

Лето еще не кончилось, в городе было очень жарко. Оглядевшись, я заметила мадам Алис и детей. Они тоже увидели меня и бросились в мою сторону. Лили, маленькая Ивонка и старший Карли, которого здесь, в Америке, стали звать Чарли, промчались через огромный вокзальный зал и, плача и смеясь одновременно, повисли у меня на шее. В этот момент подоспел с вещами мой приятель — очень богатый француз.

Взяв детей за руки, я направилась к выходу. Взгляд мой упал на нишу в стене — там стоял Имре. На нем был все тот же потертый костюм, что и шесть недель назад, когда мы распрощались, и тот же самый галстук, от жары и влаги превратившийся в скрученную тряпку. Имре смотрел на меня, и глаза у него были грустные-грустные. Я не выдержала; оставив своего спутника, бросилась к Имре со словами:

— Имрушка, как я рада, что ты пришел!

Имре покачал головой.

— Нет, детка, не вздумай тут со мной задерживаться; тебе это только повредит. Теперь ты свободная женщина, ступай искать новое счастье.

И тут я вдруг почувствовала, что совершила чудовищную несправедливость. Глаза мои наполнились слезами.

— Господи, я ведь не хотела причинить тебе боль. Прости меня!

— Хорошо, девочка моя. Ступай.

— Где мне тебя застать? Я тебе позвоню, как только приеду в гостиницу.

Имре явно колебался. Затем тихо промолвил:

— Обедаю я дома, с детьми. Так что в это время мы могли бы и поговорить по телефону.

Вся эта сцена заняла минуты три. Мне пришлось уйти, сесть в чужую машину. Мой приятель был вне себя от ярости.

— Такого я еще не видывал! У нас, в Париже, да и вообще во Франции порядок четкий: если человек разведен — значит, прежней жизни конец. А чтобы обниматься-целоваться с бывшим мужем, да при этом еще и слезы лить... ну уж извините!

— Какие глупости! — нетерпеливо ответила я. — Неужели ты не понимаешь, что я к нему хорошо отношусь. Ведь я так многим ему обязана. И дети... от детей-то и вовсе не откажешься.

— Нет, — коротко ответил он, — этого я не понимаю.

Слово за слово, дальше — больше... Прибыв в гостиницу, мы разошлись по своим комнатам, захлопнув каждый за собой дверь.

В моей комнате меня ожидали чудесные цветы. Среди прочих был маленький букетик незабудок — без визитной карточки. Я сразу же догадалась, что это от Имре. Бросившись к телефону, набрала свой прежний номер.

— Мы поссорились! Слышишь, Имрушка, мы поссорились! Я сейчас приеду.

— Очень рад, — скупно обронил он. Но ведь всегда же чувствуешь, если другой человек счастлив.

Так что я, возвратясь после получения развода, в тот же день побывала в своем прежнем доме. На 11-й этаж я взлетела бегом, будучи не в силах дожидаться, пока лифт доползет наверх.

— Теперь я богатая женщина, — заявила я домашним. — Куплю тебе рояль "Стейнвей".

Имре горячо воспротивился.

— Побереги деньги для себя, а я обойдусь и без пианино.

— Чарли, Лили, Ивонка! А что купить вам?

— Нам из этих денег ничего не нужно, мама, — ответили они, и в этот момент всю мою веселость как ветром сдуло.

Я пробыла у своих до полуночи, а затем Имре проводил меня в гостиницу.

— Этот человек — преступник, он похитил тебя у детей! — сказал он мне дорогой. — А ты... что ж, затянула песню, теперь допой до конца.

Наступила осень, пролетел сентябрь, вот и подошло начало октября. Мой приятель, конечно же, видел, что Имре в тот первый вечер провожал меня до гостиницы. Мне пришлось пообещать, что отныне я буду встречаться только с детьми, да и то иногда. Но Лили подхватила корь, а затем Ивонка слегла с фолликулярной ангиной. Волей-неволей я должна была навещать их. У приятеля моего это в голове не укладывалось, но он не слишком препятствовал моим визитам, ведь в октябре мы собирались минимум на два месяца отправиться в путешествие по Южной Америке, да и для заключения брака уже были готовы все документы.

Я ходила в брачную контору, наведальась и к врачу: в последние дни пребывания в Рено у меня начались жесточайшие головные боли.

— Необходимо перерезать тройничный нерв, — такой приговор мне был вынесен после обследования. — Правда, левая часть лица у вас отомрет — будет парализована, но зато головные боли прекратятся.

Я была до такой степени измучена нестерпимой болью, которая проходила по большей части лишь к пяти утра, что, пожалуй, пошла бы на операцию. Но Имре не соглашался ни в какую.

— Об этом и речи быть не может, ты слишком молода, чтобы уродовать себя! Не поверю, будто нет другого способа, всегда существуют различные возможности!

Тот, другой, подумала я про себя, тоже "Скорпион", как и Имре, только характер у него еще похлеще. Что мне делать с ним в Южной Америке? Сославшись на запрет врача, я отказалась от путешествия. Проводила своего приятеля на аэродром, помахала ему вслед, и едва самолет успел подняться в воздух, как я, не медля ни секунды, помчалась к Имре и детям.

Изо дня в день навевывалась я в свой прежний дом. А приятель мой изо дня в день звонил мне, и я чувствовала, как мы все больше отдаляемся друг от друга. Я по-прежнему жила в гостинице. Мой приятель перечислил на мое имя в банк уйму денег. Устраивать званые вечера я, конечно, перестала, но, если случайно оставалась в гостинице, ко мне заходил кое-кто из друзей. Нанесли визит Штраусы: добрый, старый друг Оскар — автор оперетты "Грезы", музыки к фильму Шницлера "Хоровод" и множества зажигательных мелодий для берлинского кабаре "Эберрайт" — со своей обворожительной супругой Кларой.

— Смотри, как бы тебе не остаться на бобах, — сказала мне Клара. — Дети твои подрастут, и в один прекрасный день ты пожалеешь, что бросила их. Неужели ты до сих пор влюблена в того человека?

— Ни чуточки! Так, наваждение какое-то... было и прошло.

Разумеется, я не знала, что Клара накануне побывала у нас дома и затеяла разговор с Имре.

— Имре, надо во что бы то ни стало водворить домой Верушку. Хотя бы ради детей. Я беседовала с ней, и она призналась, что была бы не прочь вернуться к вам.

Доброе слово одному — умное словечко другому, и Кларе удалось связать оборванную нить.

— Мне бы хотелось, чтобы ты вернулась к нам, — сказал мне Имре при ближайшем свидании. — Но я женюсь на тебе снова лишь в том случае, если ты передашь адвокату все, что ты получила от того мужчины, а его самого письмом или телеграммой поставишь в известность о случившемся.

Адвокат, у которого я депонировала чековую книжку и драгоценности, взирал на меня как на сумасшедшую.

Из гостиницы я переселилась в крохотную наемную квартирку. Поскольку при разводе все свои драгоценности я вернула Имре, то мне даже в ломбард снести было нечего. Наперед оплаченная квартира и пятидесятидолларовая банкнота — вот и все, с чем я осталась на пороге зимы. Даже

перспективы где-нибудь подзаработать и то не было.

Лили, проводывая меня, всякий раз приносила из дома какие-нибудь гостинцы; дочке было тогда двенадцать лет. Однажды она пришла ко мне с пустыми руками, зато порадовала замечательным сюрпризом:

— Сегодня я могла бы у тебя переночевать.

Однако, когда она обследовала содержимое моего холодильника, результат ее отрезвил.

— У меня есть два доллара, — заявила она, критически оценив ситуацию, — а у тебя полным-полно пустых бутылок из-под содовой, джина и молока. Если их сдать, то можно выручить не меньше десяти долларов. На эти деньги я куплю продуктов, и мы с тобой устроим роскошный ужин.

Дочка сложила бутылки — штук сорок, не меньше — в большой мешок и чемодан и исчезла. Прошла целая вечность, пока Лили вернулась обратно, сгибаясь под тяжестью пакетов.

— Ты хоть догадалась взять такси?

— Что ты, мама, тогда у меня осталось бы доллара четыре! И туда, и обратно я ходила пешком.

На другой день ко мне явился Имре. Лили, конечно же, рассказала ему обо всем, и он притащил целый чемодан всевозможных деликатесов, какие только можно купить на Пятой авеню.

— Сейчас прибудет и Первич. Займется стряпней, чтобы ты хоть раз прилично поела. Потом мы торжественно распрощаемся с нашей фешенебельной квартирой и опять переселимся с востока в менее презентабельную западную часть города... Ну и снова поженимся.

Между мной и тем другим мужчиной произошло бурное объяснение. Я телеграфировала ему в Аргентину:

”ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ. ОСТАЮСЬ С СЕМЬЕЙ. ПРОСТИ. В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ МНОГОЕ УВИДЕЛА В ДРУГОМ СВЕТЕ. МЫ ВСЕ РАВНО НЕ БЫЛИ БЫ СЧАСТЛИВЫ”.

Получив телеграмму, он тотчас же прилетел в Нью-Йорк, но я не изменила своего решения. В моей жизни это была всего лишь интермедия, корни которой следует искать в страсти к романтике и ощущении одиночества, вызванном чуждой средой. Имре объяснил это так:

— Видишь ли... ты сходила с ума по Парижу, бредила Парижем. И когда здесь, в ужасающе чужом Нью-Йорке, тот человек заговорил с тобой по-французски, ты попросту не устояла.

Адские головные боли у меня не прекращались. Вокруг суетились десятка два врачей, и каждый предлагал перерезать тройничный нерв. Имре упорно не соглашался.

Боли странным образом всегда появлялись к вечеру. Один из профессоров посоветовал мне незамедлительно лечь в неврологическую клинику. Дело было пополудни. У мужа, а точнее, у моего бывшего мужа кто-то находился в гостях. Вдруг раздался стук в дверь, и мужской голос спросил, можно ли позвонить. Конечно, можно, недовольным тоном ответила я.

— Джордж Баланчин, — представился незнакомец. До этого момента мне не доводилось видеть прославленного балетмейстера. — А вы — госпожа Кальман?

— Бывшая. Мы с Кальманом разведены.

— Вы ведь русская? — задал он следующий вопрос, а затем мы перешли на русский, поскольку Баланчин был тоже родом из России. Он поговорил по телефону со своей женой и, закончив разговор, вновь принял меня расспрашивать.

— А что за болезнь вас донимает?

Я рассказала ему про боли, пожаловалась, что меня обследовали десятки врачей, но не нашлось ни одного, кто бы взялся мне помочь.

— Как это — "не нашлось"? — ободряюще улыбнулся мне Баланчин. — Я знаю врача, единственного на свете, который наверняка вам поможет: это доктор Саймон Раскин. Я рекомендовал его Яну Кепуре и Марте Эггерт, и обоих он вылечил. Лишь Гершвина он не сумел спасти, потому что к нему обратились слишком поздно. Я сию же минуту позвоню ему.

Врач прибыл через полчаса и тотчас же поставил диагноз: гнойное воспаление лобной пазухи.

— На сей раз к операции прибегать не станем, — успокоил меня доктор, за которым укрепилась репутация лучшего хирурга Соединенных Штатов. — Испробуем полоскания, а кроме того, я постараюсь достать сульфаниламид. — Доктор Раскин в числе прочих принимал участие в разработке этого нового препарата против бактериальных инфекций, и ему удалось добиться, чтобы я — первой в мире — смогла принимать это лекарство в виде пилюль.

В Соединенных Штатах существует такой порядок: если люди собираются вступить в брак, им делают анализ на реакцию Вассермана. Это правило распространяется и на тех, кто вступает в брак повторно.

Для анализа, как известно, необходимо сдать кровь, а эта процедура была для Имре одной из самых ненавистных. К месту пытки мы отправились вдвоем.

Когда же мы поднимались на лифте в нотариальную контору, чтобы заключить брак, Имре припугнул меня:

— Ради тебя я не пожалел даже крови, но имей в виду: это было в последний раз. Если ты опять разведешься со мной, я на тебе больше не женюсь, можешь быть уверена!

Оформив наш брак, меня спросили, счастлива ли я. Мы с Имре переглянулись и оба не могли сдержать смеха.

— Конечно! — ответила я. — Ведь вот до чего странно: с первым мужем я не была счастлива, зато со вторым я самая счастливая женщина на свете.

И я ничуть не погрешила против истины. Имре стал гораздо уступчивее, ласковее, тактичнее, чем прежде.

Мчались к фронтам военные эшелоны. Германия и Япония подмяли под себя чуть ли не целые континенты. Однако в далекой России агрессоры наткнулись на незыблемую преграду: Сталинград! Фашистское наступление обернулось отступлением. Для Америки же, наоборот, именно в эту пору и началось военное продвижение. Все это время мы не имели никаких сведений о судьбе родных Имре. Советская Армия медленно, но неуклонно приближалась к границам Венгрии, и мы считали оставшиеся до Будапешта километры.

Едва только пробудилась надежда на благополучный исход войны, едва разрешился наш семейный кризис, как Кальман избавился от чудовищного напряжения, терзавшего его в последние годы. Он снова окунулся в работу.

Когда Имре был еще ребенком, его страна пережила печальное происшествие. Глухой зимней ночью кронпринц Рудольф застрелил юную баронессу Марию Вечера, а затем покончил с собой. Весь мир заговорил о трагедии в Майерлинге — охотничьем замке к югу от Вены. Позже этот случай стали называть загадкой, а еще позднее — "майерлингской тайной". Кому-то якобы удалось установить, что Маринка — так звали в кругу семьи шестнадцатилетнюю Марию — и не погибла вовсе, а вместе с принцем Рудольфом бежала за границу: баронесса, мол, бежала из соображений этикета, препятствовавшего ее браку с наследником, а Рудольф — спасаясь от постылой супруги, бельгийской принцессы Стефании.

Новая оперетта Кальмана так и называлась: "Маринка".

Авторами текста были соотечественник Имре Карой Фаркаш и американец Джордж Мэрион; в основу сюжета легла история романтической любви принца Рудольфа и юной Марии, а пересказывает эту историю бежавший в Соединенные Штаты венский лейб-кучер Братфиш, катая пассажиров по нью-йоркскому Централ-парку.

Пока Имре сочинял комедию для сцены, мы с ним на пару разыграли комедию в жизни. Я решила во что бы то ни стало сменить квартиру: опять переехать в восточную часть города, — но муж оставался глух к моим просьбам. Однажды вечером я услышала какой-то шорох, и, когда Имре зашел ко мне пожелать доброй ночи, я со страхом вцепилась в него:

— Имрушка, я боюсь! Тут бегают мыши и крысы!

— Тебе почудилось, — отмахнулся Имре. — Спи и не выдумывай глупости.

Тогда я подговорила детей. Каждый вечер мы скреблись у Имре под дверь и громко кричали: "Ой, мышь!" Однако Имре вместо того, чтобы съехать с квартиры, обратился к домовладельцу. Тот недоверчиво покачал головой: до сих пор жильцы никогда не жаловались на мышей. В квартире расставили мышеловки, в которые, конечно же, не попала ни одна мышь.

Тогда я на свой страх и риск отправилась на Ист-Сайд-Парк-авеню и сняла квартиру, очень красивую, зато вдвое более дорогую. Мы не прожили там и месяца, как муж однажды позвал меня:

— Поди-ка сюда, Верушка!

Мы вошли в помещение при кухне. Имре включил свет, и — шмыг! — прямо у наших ног пробежала мышь и юркнула за холодильник. Я даже не вскрикнула.

— Ничего не попишешь, — холодно заметила я. — Придется расставить мышеловки.

— В западной части города тебе проходу не давали несуществующие мыши, — съязвил муж. — Зато если эти твари взаправду разгуливают по фешенебельной квартире, это тебя не смущает...

Имре прекрасно понимал, к чему я, собственно, стремлюсь. Общественность по-прежнему была недостаточно осведомлена о том, что Имре Кальман находится в Соединенных Штатах, а мне хотелось, чтобы о нем говорили, писали. У Имре отсутствовала мания величия, напротив, он страдал излишней скромностью, что, по моим понятиям, ничуть не меньший недостаток.

Мне понадобилось переделать меховой жакет, и я забрела к торговцу мехами, который показал мне единственное в мире манто из платиновой норки. Серебристо-серые шкурки отличались не только редкостной красотой, но и необычностью: до той поры меховщикам были известны только темные норки.

— Цена манто — тридцать тысяч долларов.

От такой суммы даже я пришла в ужас, но тем не менее манто решила примерить. Расстаться с шубой я не смогла.

— О'кей, шубу я покупаю. Только прежде мне нужно подготовить к этому мужа.

Дома я доверительно обсудила ситуацию с дочерью. Лили, увидев шубу, поддержала меня:

— Ты должна ее оставить, мама.

Мы с Имре собирались на спектакль "Оклахома"; манто я надела в самый последний момент.

— Не пугайся, я его одолжила.

Имре лишился дара речи. Затем, на глазок оценив стоимость манто минимум в две тысячи, весь извелся от тревоги, как бы не попортить мех. В вестибюле театра собралась целая толпа, чтобы полюбоваться невероятной красотой: Ирвинг Берлин, Оскар Хаммерштейн II и группа журналистов, которым не терпелось выспросить, что это за чудо. Уж не знаменитая ли платиновая норка, о которой модные журналы все уши прожужжали?

— Разумеется, та самая! — отвечала я. — А это — мой муж Имре Кальман!

Толпа вокруг нас сбилась в плотный кружок, и композитор "Королевы чардаша" сразу же оказался в центре внимания.

У меня было десять дней срока, чтобы расплатиться за шубу. И все эти десять дней газеты ни о чем другом не писали, кроме как об Имре Кальмане и восхитительной шубе его жены, ну и о новой его оперетте "Маринка". В конце концов мне пришлось во всем признаться.

— Видишь, какое паблисити я тебе обеспечила? Деньги эти ты играючи вернешь на постановке "Маринки".

В Америке театры не пользуются субсидией. Там пятьдесят процентов предварительных расходов несут композитор и либреттист. В данном случае речь шла о 250 тысячах долларов. Когда я призналась, что подписала чек на 30 тысяч долларов, Имре немедленно помчался в салон удостовериться в этом. Домой он возвратился вне себя от бешенства. Впер-

вые за все годы нашей совместной жизни я видела его в такой ярости.

— Ты наспустишь по миру! Неужели ты не понимаешь, что мы всего лишь беженцы? Начиная с сегодняшнего дня не рассчитывай больше ни на какие подарки, ни к рождеству, ни ко дню рождения! А шубу эту будешь носить до самой смерти, это тебе урок на всю жизнь.

Однако его мрачные прогнозы не оправдались. Шуба произвела такую сенсацию, что нашлись желающие охотно предоставить нам необходимые 250 тысяч. 18 июля 1945 года в роскошной обстановке — в "Винтер-Гарден" на Бродвее — состоялась премьера "Маринки". Для нас снова началась полоса успеха.

— Норка себя окупила, — заявил Имре. — Будут тебе подарки и ко дню рождения, и на рождество.

Вновь засияло солнце — над нами и над миром. Войне настал конец. Только Венгрия скрывалась за "занавесом". Некая эмигрантская газета по капле выдавала сведения о тамошних событиях, о судьбе преследуемых, об ужасах пережитого венграми нацистского террора. Имре со страхом ожидал каждого номера газеты. Через месяц после премьеры "Маринки" пришел очередной выпуск. Раскрыв газету, Имре вскрикнул, схватился за сердце и упал. Одна из статей, озаглавленная "Убийство", повествовала о судьбе сестер Имре. Занавес разорвался, приоткрыв действительность куда более страшную, чем самый кошмарный сон.

Для нас наступили ужасные дни. Имре Кальмана сразил инфаркт. С помощью инъекций, таблеток, укрепляющих средств едва удалось раздуть угасающую искру жизни. Я велела перенести свою кровать в комнату Имре, чтобы днем и ночью находиться рядом на случай, если я ему понадоблюсь. Весть, которая свалила его наповал, была краткой, однозначно ясной и жестокой. Две сестры Имре, ослабев, упали на дороге, когда их перегоняли из лагеря в лагерь. Там же, на обочине, они и скончались, как гибнут лесные звери холодной, безжалостной зимой.

А некогда, в счастливый зимний день 24 февраля 1924 года, на сцене театра "Ан дер Вин" в "Марице" впервые прозвучал прелестный детский хор:

"Илушка, Розика..."

В начале 1945 года суровым зимним днем близ города Дьёр оборвалась жизнь сестер Имре Илонки и Милики. Останки их даже не были, как полагается, преданы земле. Имре ни тогда, ни по прошествии времени не смог утешиться мыслью, что обе они продолжают жить в прекраснейшей из его оперетт.

Розике, младшей сестре Имре — они были погодки, — удалось спастись. Избежал смерти и сын Розики Иштван, прошедший такие муки ада, какие не под силу вообразить даже самому изобретательному романисту. За непокорность он был приговорен к расстрелу. Прогремел выстрел, и Иштван упал; его безжизненное тело было сброшено в братскую могилу. Но Иштван перехитрил своих убийц, притворившись мертвым. Когда массовая казнь была закончена, он, раздвигая трупы, выбрался на свободу — если можно говорить о свободе применительно к человеку, объявленному вне закона, вне общества, обреченному на преследование и смерть. Но Иштван выдержал все испытания, до освобождения страны скрывался в лесах с группой партизан.

Силы Имре оказались подорваны на долгие недели и даже месяцы. Со временем он кое-как оправился, однако пережить этот удар так и не смог. Он ведь не имел возможности вывезти из Венгрии мать и сестру; хотя даже это не вознаградило бы их за все перенесенные страдания.

Опасаясь повторного сердечного приступа, мы увезли Имре на отдых в Нью-Хемпшир.

Между тем новая оперетта Кальмана "Маринка" проходила в "Винтер-Гарден" с шумным успехом: публика бешено аплодировала и от восторга даже топала ногами. На премьере в ложах собрался цвет общества, в том числе эрцгерцог Франц Иосиф с супругой, госпожа Чан Кайши, мэр Нью-Йорка Фьорелло ла Гуардиа, Омар Брэдли, в войну возглавлявший 12-ю американскую армию. Присутствовавшие аплодировали, не щадя ладоней. Мои оптимистические предсказания оправдались: в обществе только и разговоров было, что об Имре Кальмане, люди рвались попасть на его оперетту.

Время, врачующее раны, а в особенности работа, деловые переговоры, планы на будущее — мечта вновь посетить старушку Европу — постепенно отвлекли внимание Имре от самобичевания и мрачных мыслей. Да и врачи с такой

интенсивностью взялись за его лечение, что от пациента требовалась полнейшая концентрация усилий, дабы выполнить все медицинские предписания. Из всех ограничений наиболее тяжким для него было отказаться от супа. Супы он обожал, а ему разрешили съесть не больше нескольких ложек.

— Лучше бы вам вообще исключить супы из рациона, — советовали врачи.

Чарли в свою очередь тоже пытался воздействовать на отца:

— Папочка, брось ты увлекаться этими супами! У каждой ложки вкус одинаковый, и трех ложек тебе вполне достаточно, чтобы распробовать, — мудро рассудил сын.

Любопытно, что эта борьба за каждую ложку супа сыграла в воспитании детей куда большую роль, чем мои непрестанные предупреждения не набрасываться на еду с такой жадностью. На примере собственного отца они моментально убедились в том, что необходимо соблюдать меру. Имре, конечно же, тяжело дался отказ от любимых привычек. Ведь еда — вслед за фанатической одержимостью творческой работой — была его коньком. Вкушение пищи было для него событием, торжественной церемонией, в которой надлежало принимать участие и детям, и мне, и Марии Первич. Даже вкуснейшие лакомства теряли свою прелесть, если мы не уписывали их за обе щеки, смакуя каждый кусочек.

Особую слабость питал Имре к отварным мосолкам. Это лакомство он всегда сам покупал себе на завтрак, и надо было видеть, с каким наслаждением он распаковывал снедь. А вот к питью он был почти равнодушен. Разве что иногда выпивал полбутылки коньяку, если чувствовал, что у него начинается "степной насморк", как сам он называл эту хворь: не то чтобы сенная лихорадка, но какой-то аллергический насморк, сопровождавшийся непрерывным чиханием. От этого недуга и пользовал он себя коньяком, и весьма успешно: стоило ему выпить полбутылки, как насморк проходил в течение одного дня.

Загородная жизнь настолько пришлась Имре по вкусу, что он решил на лето снять где-нибудь под Нью-Йорком виллу с плавательным бассейном. Если спуститься вниз по течению Ист-Ривер, то справа нетрудно обнаружить дивные лесные места. Туда мы и перебрались из многомиллионного шумного города.

Оба мы сходились на том, что грохот Манхэттена выдержать невозможно. Правда, в том месте, где мы жили, трамвай

не ходил, зато днем и ночью раздавался скрежет автомобильных тормозов, оглушительно визжали сирены полицейских и пожарных машин. За городом царила тишина, и это было чудесно... днем. А ночью, когда мы отправились на покой, произошла неожиданная неприятность. Я не могла сомкнуть глаз именно из-за этой глубокой тишины. Наутро я заявила мужу:

— Дни я буду проводить здесь, а ночевать мне придется дома, в Нью-Йорке, среди привычного шума.

— Да ты с ума спятила! — возмутился Имре. Но я все последующие дни твердила свое, и он наконец согласился на два дня вернуться в Нью-Йорк. Однако там стояла такая жара и духота, что, несмотря на включенные кондиционеры, мы оба не могли уснуть.

— Упаси боже, чтобы я провел тут еще хоть одну ночь! — сердился Имре. — Уж не говоря о том, что загородная вилла влетела нам в копейчку. Что же касается шума... то я приготовил тебе сюрприз.

Обещанный сюрприз не заставил себя ждать. В тот же вечер, едва только я легла спать, рядом загудели автомобильные гудки, взревели сирены: в ванной комнате по соседству с моей спальней был включен граммофон, воспроизводивший шум пробуждающегося Нью-Йорка. Пластинка, изготовленная по заказу Имре, оказала чудодейственное воздействие: я заснула как убитая.

Зимний сезон вновь оказался сопряжен с множеством светских обязанностей. Муж всячески старался избегать их, и мне приходилось нести двойную нагрузку. Наши друзья Марта и Иосиф Габсбурги решили начать благотворительную кампанию под девизом "Save Austria's children" ("Спасите детей Австрии"). Сальвадор Дали одним росчерком пера изобразил — разумеется, безвозмездно — на обложке программы танцующую великокняжескую чету. Мне предложили возглавить это мероприятие. Помимо того, я принимала участие во многих балах и приемах, да и сама устраивала званые вечера, снискавшие — благодаря кулинарному искусству Марии Первич — широкую славу. Нас посетил даже сам Жан Кокто — после большого приема, устроенного в честь премьеры фильма по его пьесе "Двуглавый орел". По этому случаю я пригласила и Грету Гарбо. Она пожелала знать, сколько соберется гостей. Всего несколько человек, ответила я, искренне так полагая. Однако в Америке существует обычай, согласно которому приглашенные вправе при-

вести с собой родственников и друзей, так что в конечном счете хозяева дома сами не знают, сколько гостей пожалует. В тот вечер у нас собралось более трехсот человек, все дамы были в длинных вечерних туалетах. Грета Гарбо явилась в простом свитере с высоким воротом и в маленькой бархатной шляпке. При виде огромного сборища она тотчас же повернула было к выходу — "Ни за что не останусь, лучше не уговаривайте", — но затем все же поддалась на уговоры, перепробовала все выставленные на стол яства и явно чувствовала себя в своей стихии. Этим вечером и датируется начало ее тесной дружбы с Жаном Кокто.

Между делом мы снова наведались в Голливуд. Луис Б. Майер отозвал меня, чтобы поговорить по секрету, и в тот же вечер я ошеломила мужа неожиданной новостью:

— Ты знаешь, Майер предложил мне контракт, и я его подписала.

В первый момент Имре не нашелся, что сказать.

— Мне поручена главная роль! — продолжала я. — Буду готовиться, немедля приступаю к урокам.

Муж отрицательно покачал головой.

— Нет, Верушка, это исключено! Я потеряю жену, трое детей лишатся матери. Как ты могла на такое решиться? Изволь аннулировать контракт.

И тут я вытащила свой козырь:

— Но ведь я получу такой высокий гонорар!

Имре даже не поинтересовался его размерами, лишь задал вопрос:

— Ну и что бы ты на него купила?

— Соболью шубу и "кадиллак", — не раздумывая ответила я.

— Хорошо. Получишь от меня и то, и другое, только расторгни контракт.

Я всячески протестовала. Мне хотелось доказать и мужу, и детям, что я гожусь не только на роль матери и жены, что могу и собственными усилиями кое-чего добиться в жизни. Имре подготовил мне своеобразный ответ, к обеду прихватив с собой тоненькую брошюрку, которую дотоле бережно хранил у себя в кабинете: программку "Герцогини из Чикаго" с полным перечнем исполнителей. Отыскав нужную страницу, он протянул мне программку.

— Смотри: вот мое имя. Вот имя Риты Георг. Оба набраны крупным шрифтом. А чье имя напечатано здесь самыми мелконькими буквами? Твое имя, Верушка. Зато какой

карьеру добилась ты с этим своим скромным именем! Не забывай об этом!

Больше он меня не уговаривал. Кинозвездой я не стала.

Лето 1947 года мы вновь проводили в Нью-Йорке. Вопреки обыкновению Имре уже с раннего утра был на ногах, намереваясь сразу же после завтрака отправиться из дома. Путь его лежал на Уолл-стрит, на биржу. Не только ноты интересовали Кальмана, его привлекали и курсы акций на бирже. Он всю жизнь приобретал акции и играл на бирже.

Через два часа после его ухода раздался телефонный звонок:

– Миссис Кальман? Вас беспокоят из полиции... С вашим мужем произошел несчастный случай... пострадавший доставлен в госпиталь.

Хорошо, что дети оказались дома. Я была на грани истерики. Незадолго до этого в Нью-Йорке жертвой катастрофы оказался Фриц Крейслер, чародей скрипичного искусства. Его также отвезли в какой-то госпиталь, и несчастной жене с трудом удалось разыскать его.

Бросившись к ближайшей стоянке такси, мы помчались в госпиталь. Обошли все палаты, осмотрели все койки и наконец обнаружили Имре в операционной, где ему накладывали гипс на поврежденную левую руку. Дети и я вместе с ними рыдали в три ручья – от волнения и от радости, что Имре так легко отделался. Сам пострадавший с досады готов был на стенку лезть: он ненавидел болеть и не мог примириться с этим состоянием – во всяком случае, тогда, в 1947 году.

Происшествие действительно оказалось нелепым. Имре добирался до биржи в такси, и, не доезжая Уолл-стрит, в их машину врезалось другое такси. Имре с такой силой ударился левой рукой о стенку машины, что произошел перелом локтевой и лучевой костей. Несколько недель ему пришлось носить тяжелую гипсовую повязку, но он и тогда не думал об отдыхе...

В первое послевоенное лето нас обоих посетила невыразимая радость. Сентрал-парк был залит солнцем, я у себя в комнате возилась с прической, когда приоткрылась дверь и заглянул Чарли. Было ему в ту пору семнадцать лет.

– Мама, я хочу кое-что сыграть. Это мой подарок тебе ко дню рождения.

— Ну, что ж, ладно, — сказала я, хотя меня куда больше занимала собственная прическа.

Чарли сел к роялю. После первых же аккордов я стала прислушиваться с возрастающим интересом. В комнату вошел Имре, а затем и Лили. Все мы стояли вокруг Чарли, забыв обо всем на свете, а сын исполнял свой первый фортепианный концерт.

Имре начал всерьез заниматься с мальчиком, когда тому было всего двенадцать лет. Они часто и подолгу музицировали в четыре руки, поразительным образом понимая друг друга. Свой первый фортепианный концерт Чарли посвятил мне. Я показала клавир Артуру Рубинштейну и другим артистам, входящим в наш дом. Рубинштейн, проиграв концерт, вынес свое суждение:

— Ваш сын очень талантлив.

1949 — 1953. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ. СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ. УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА КАЛЬМАНА

В 1949 году, в день моего рождения, Имре преподнес мне цветы и краткое поздравление: "Дай бог, чтобы мать, отец и дети и впредь являли собой столь же прочно сколоченное единство, чтобы оставались людьми, способными один ради другого пойти в огонь и в воду. Не забывай этого, Верушка, никогда!"

Возможно, он имел в виду те минуты, когда все мы собирались вокруг Чарли и каждый член семьи чувствовал свою слитность с ним и со всеми остальными?

Моя тревога за Имре — когда с ним произошел несчастный случай и раньше, во время его инфаркта, — основательно изменила меня. Я почувствовала, по-настоящему осознала, что значит для меня мой муж. И он тоже ощутил эту перемену. Наши отношения отныне были лишены какого бы то ни было диссонанса, мы сделались очень близки друг другу, и это в значительной степени способствовало его выздоровлению. Имре продолжал свои пешие прогулки и работал не покладая рук. Но втайне прислушивался к поступающим из Европы слухам о разрухе и нищете, а затем — после денежной реформы — о возрождении и жизненном подъеме. Теперь его родиной была Америка, страна, великодушно приютившая его после того, как он был вынужден сжечь за собой все мосты. Но в глубине души Имре по-прежнему любил старушку Европу, Вену, Будапешт, Берлин. Ему хотелось вновь повидать те места, где он обрел свою наивысшую славу.

И 5 июня 1949 года семья села на океанский пароход, направлявшийся к берегам Европы. Официальной целью нашего путешествия было лечение на курорте Баден-Баден. Однако там нас ожидала целая серия дальнейших приглашений: в Вену, где президент Австрии Карл Реннер и федеральный канцлер Леопольд Фигль устроили в честь Кальмана роскошный прием. Имре, конечно же, не упустил возможности навестить и в Ишль, где возложил венок на могилу своего старого друга Ференца Легара. Побывали мы и в

Стокгольме, где Имре вдел в петлицу фрака орден "Северная звезда", врученный ему королем Густавом V.

Вообще-то Имре хотелось обосноваться в Цюрихе, он всегда восхищался этим городом. Однако в угоду мне мы все же поселились в Париже, где присутствовали на торжественном представлении "Королевы чардаша" с Яном Кепурой и Мартой Эггерт в главных ролях.

В ФРГ возобновили постановки всех крупнейших оперетт Кальмана. Режиссеру Фрицу Фишеру удалось заново возродить прежние успехи. "Дорогой друг Фишер... (долгая пауза)... это был счастливейший день моей жизни... (еще более долгая пауза)... благодарю вас лично, благодарю всех вас..." — вот и все, что смог произнести растроганный Кальман в радиоинтервью.

С огромной радостью осталась бы я в Париже, да в ту пору, вероятно, и Имре тоже. Наш давний друг Жозеф Поль-Бонкур вручил ему офицерский крест ордена Почетного легиона; кавалером рыцарского креста Кальман являлся уже давно. По этому случаю у нас собралось множество знаменитостей: министр экономики Ревийон и автор всемирно известного шлягера "Валенсия" Альберт Вильмец, такие крупнейшие представители французской и немецкой антивоенной литературы, как Ролан Доржелес и Эрих Мария Ремарк; здесь же присутствовали Полетт Годдар и президент Франции...

Имре очень пошло на пользу такое необычайное внимание к его музыке, душевное отношение и любовь друзей старых и вновь приобретенных. Состояние его день ото дня улучшалось. Но он думал не о себе, в первую очередь его заботила судьба нашего сына. Чарли пока не закончил учение; он занимался в нью-йоркском университете "Коламбия", и впереди оставалось еще два года.

— Важнее всего, чтобы мальчик учился, — так считал Имре.

Поэтому осенью 1949 года мы были вынуждены вернуться в Америку. Немало пришлось поспорить по этому поводу, я всячески восставала против, да и остальные члены семьи предпочли бы остаться в Европе.

Нью-Йорк встретил нас невероятной жарой при стопроцентной влажности воздуха. Перемену климата мы переносили очень тяжело, в особенности страдал Имре.

Прошло два месяца. За неделю до рождества Нью-Йорк превращается в форменный лес. Парк-авеню была сплошь

заставлена рождественскими елками. Но этот праздник — деловой, официальный, не имеющий ничего общего с истинно рождественским настроением. Здесь важен лишь внешний лоск, сверканье мишуры и фальшивой позолоты, переливы неимоверно пестрых красок. Посыльные обрывали звонок в нашей квартире. Непрерывным потоком шли упакованные в яркую цветную бумагу подарки, и каждый из них был украшен красной рождественской звездой, которую я и прежде-то терпеть не могла, а с той поры и вовсе не в состоянии видеть. Неохватной грудой высились передо мной эти рождественские звезды — знаки внимания друзей и знакомых. Мы уж и не знали, куда эти подарки складывать.

Двадцатое декабря. Цветы, яркие украшения, блестки, пение, грохочущая музыка на улице. Я стояла в холле и вдруг вся окаменела. Из ванной комнаты вышел какой-то человек... я его даже не узнала. Вместо лица — искаженная маска. Имре! Одна половина лица у него была полностью парализована. Говорить он не мог и еле волочил ноги. За окном шел снег. Миллионы белых снежинок кружились в танце над празднично шумной Парк-авеню. Манхэттен радостно встречал рождество.

Мария Первич и я с двух сторон подхватили Имре, бережно проводили его в спальню и уложили в постель. В результате кровоизлияния оказалась парализованной и другая половина лица.

Мы вызвали врача, и он констатировал у Имре высокое кровяное давление. Имре никого не узнавал, бесчувственный ко всему, покоился он на постели. Это были самые страшные часы, которые мне когда-либо довелось пережить. Имре пытался что-то сказать, но с губ его срывались какие-то невнятные звуки. Беспомощно стояли мы у его постели, а за окном, на улице, пели и радостно веселились дети.

Отчаяние охватило меня с еще большей силой, чем два года назад, после его инфаркта: что случилось бы с нами, если бы нам действительно пришлось жить без него?

Мне вспомнилась одна сцена, свидетелями которой явились мы вместе с Имре. Дело было во время войны, когда в американских кинотеатрах показывали русские фильмы. Мы присутствовали на просмотре как раз такого фильма. По ходу действия героиня фильма — певица — исполняет арию из "Королевы чардаша", и у нее вдруг на миг срывается голос. Подобные промашки случаются иногда, однако человек, перед которым героиня фильма демонстрировала

свое искусство, возмущенно воскликнул: "Услышь это Имре Кальман, он бы в гробу перевернулся!" Имре смеялся до слез. Тогда это казалось смешным.

Рождество 1949 года выдалось для нас печальным. Лишь в январе появились признаки постепенного улучшения, но полностью оправиться Имре так и не удалось.

Наша дочь Лили, еще будучи в Париже, влюбилась в некоего молодого человека, и хотя ей не сравнялось и восемнадцати, похоже было, что чувство ее серьезно. К тому же мне самой так хотелось в Париж!.. И я совершила ошибку: в феврале, едва только в состоянии Имре наметилось улучшение, я покинула Нью-Йорк. Намеренно раздувая страсть дочери, я взяла с собой и обеих девочек, и Марию Первич, которая так и не сумела свыкнуться с Америкой, — мы отправились в Европу.

— Ну, а ты вскоре приедешь вслед за нами, — сказала я Имре. Однако через четыре недели пришла телеграмма: "Ты нужна мне в Нью-Йорке".

И я опять допустила промах, отправив вместо себя Лили. Мы часто говорили по телефону. Кстати, в Париже меня удерживала не только неумная страсть к этому городу, но и стремление добиться, чтобы Имре тоже приехал сюда. И я добилась своего: несколько месяцев спустя он прибыл в Париж в сопровождении Чарли и сиделки. Мы наняли квартиру у Трокадеро.

Желая облегчить Имре работу, мы взяли напрокат несколько роялей. Однако ему так хотелось иметь собственный инструмент, что ко дню рождения я купила ему пианино. Инструмент поставили в спальне Имре, и на нем впервые прозвучали все те мелодии, с которыми широкая публика могла познакомиться лишь после смерти Кальмана. Музыку к своей последней оперетте "Аризонская леди" он начал писать еще в Америке; отправным моментом для него послужил мюзикл — "Энни, вооруженная амазонка". Создавая это произведение, Кальман стремился выразить свою признательность Америке.

"Правда, Америка неоднократно давала мне поводы для страданий, но в конце концов она ведь и приютила нас, — писал он мне еще до отъезда в Европу в одном из трогательных писем, свидетельствующих о благородстве души их автора. — А теперь эта временно обретенная родина увянет и исчезнет, как прошлогодний цветок лотоса. Я желаю нам обоим и впредь идти совместным путем. Желаю, чтобы

ты стала моим лекарем, сотни раз в день присверляя мой пульс, измеряя мне давление, тщательно заботясь обо мне и окружая меня любовью. За эту любовь я так глубоко признателен тебе". Имре так хотелось жить в Цюрихе!.. "Ради тебя я готов и на эту последнюю уступку: в угоду тебе приеду в Париж".

Мы отправились в Баден-Баден, подлечить Имре; здесь и настиг его второй — по счастью, более легкий — инфаркт. Наш врач доктор Нимейер порекомендовал незамедлительно нанять постоянную сиделку.

Как раз в тот момент из Лондона вернулась опытная сестра-сиделка. Уроженка Гёттингена, Ирмагд Шпис обучалась в Берлине; приход советских войск застал ее в одной из берлинских больниц.

— Как быть с вашими выходными днями? — спросила я.

— Мы успеем поговорить об этом, когда больному полегчает, — ответила она, чем привела меня в восторг.

Имре вскоре совершенно не мог обходиться без сестры Ирмагд, которая находилась при нем неотлучно. Ей удалось поладить даже с нашим весьма неуравновешенным семейством. Ирмагд Шпис стала последней и достойной восхищения спутницей Имре.

Если Имре хотелось поработать, она закрывала дверь его комнаты и никого к нему не допускала. Меня Имре не терпел рядом с собой, если ему необходимо было сосредоточиться, занимался ли он сочинительством, выполнял ли обычную повседневную работу или был поглощен обширной перепиской. Энергично расхаживая взад-вперед по кабинету (еще до инсульта), он не выпускал изо рта толстой сигары — а впоследствии сигареты — и в невероятном темпе диктовал, ухитряясь надиктовать тридцать-сорок писем за утро. К вечеру все они должны были быть перепечатаны набело и сданы на почту.

— Эти вечные диктовки доконают тебя! — пыталась я урезонить его. Однако Имре умел быть и резким в своих ответах:

— Почему ты знаешь, какую службу может сослужить вам когда-нибудь эта моя работа?!

Вот и теперь, будучи больным, он старался все дела уладить сам, но выразить свои мысли вслух уже не мог. В Париже он однажды вызвал меня к себе и знаками дал понять, чтобы секретарше диктовала я. Имре вместе со своей преданной сиделкой находился рядом. И я начала диктовать.

Мысли и воля моя были точно скованы. А муж сидел рядом, с палкой в руках. Стоило мне употребить неподходящее слово, и он грозил мне палкой. Эта пытка длилась несколько часов подряд, пока я вконец не выбилась из сил, а после обеда диктовку пришлось продолжить. Имре заставил писать письма своему издателю (в то время шли съемки "Королевы чардаша" с Иоганнесом Хестерсом и Марикой Рёкк, и нужно было заключить контракты) и прочим деловым лицам, а также друзьям.

Я должна была угадывать его желания по глазам. Порой это удавалось мне с таким трудом, что начинали душить слезы, и я выбегала из комнаты, чтобы не разрыдаться при муже.

Имре попытался ввести меня во все дела. Прежде я ни во что не вникала, до той поры понятия не имела о денежных расчетах, процентах, комиссионных, гонорарах и, как ни старалась, не могла разобраться во всех этих сложностях, пока судьбе не угодно было вмешаться и заставить меня понять что к чему.

После инфаркта Имре перестал вести светскую жизнь, однако меня не ограничивал в этом. Напротив, даже радовался, если я уходила из дома, зная, как я люблю бывать в обществе. Ирмгард Шпис, заботливая сиделка, находилась при нем неотлучно; достаточно сказать, что за первые полтора года она ни разу не воспользовалась своим правом на выходной день. Она, как никто другой, досконально изучила будни Имре Кальмана за последние годы его жизни. Между ними установился на редкость прочный контакт. Позволю себе привести высказывания сестры Ирмгард, они настолько точно характеризуют отношения больного и сиделки, что нет нужды добавлять к ним ни слова.

"Если я раз в три недели выбиралась к парикмахеру, маэстро распорядился доставить меня туда на машине. У меня еще и волосы просохнуть не успевали, а за мной уже являлся шофер. "Не иначе беда случилась", — в страхе думала я. "Какая там беда, просто мне хотелось, чтобы вы были рядом", — такими словами встречал меня маэстро. Называл он меня сестрой Ирмгард или просто сестрой. Однажды мне все же пришлось взять отпуск: скончался мой отец, и я уехала в Гёттинген на похороны. На это время меня подменила другая сестра, которая прежде ухаживала за господином Кальманом. Четыре недели спустя, когда я вернулась, коллега в семь утра уже поджидала меня. "Поторопитесь к маэстро. Ума не приложу,

что вы с ним сделали, но мне ему никак не угодить!” Маэстро находился еще в постели, он хорошо выспался и явно был счастлив снова видеть меня. Говорить он почти не мог, но я его понимала. Одеваться ему я, правда, помогала, но затем мы каждое утро — а иногда и после обеда — отправлялись на прогулку, и так шло до самой его смерти.

Мадам по вечерам часто отлучалась на приемы. Маэстро очень гордился супругой. ”Красивая женщина”, — говорил он, попрощавшись с нею. Всякий раз, как мадам и дети уходили из дому, он подстрекал меня: ”Ну-ка, сестра, посмотрим, что нам скажут карты”, — и я должна была гадать ему. Главным образом его интересовала судьба акций. По утрам он первым делом разбирал почту, сложенную на столике для завтрака, а затем подмигивал мне: ”Вы были правы, сестра”. Биржевые дела оказывались в полном порядке.

День проходил соответственно строгому распорядку. Для прогулки нас чаще всего отвозили в Булонский лес. На обратном пути господин Кальман выпивал первую бутылку томатного сока, а я — легкий аперитив. Затем мы покупали газеты — по большей части немецкие, — и я зачитывала вслух наиболее интересные сообщения. Под конец доходила очередь до покупки фруктов; маэстро всегда отбирал их сам, так же, как и отварные мосолки.

Господин Кальман составил перечень своих галстуков — их было около четырехсот штук; каждому галстуку соответствовал подходящий носовой платок, и маэстро точно помнил, какой кем был подарен. Если кто-нибудь из детей вдруг заболел, он обязательно говорил: ”Ивонкин подарок сегодня не надену. Повяжу-ка я галстук Чарли”.

Маэстро до известной степени жил прежними представлениями о жизни. Как-то раз, когда мы были в Мюнхене, он заказал себе ботинки у лучшего мастера в городе — как делал и тридцать лет назад. Мы вместе выбрали кожу, мастер снял мерку, и через неделю ботинки были готовы. Господин Кальман, весьма довольный работой, достал кошелек и выложил на стол сто марок — как и тридцать лет назад. Но теперь сшитые на заказ ботинки обходились в двести пятьдесят марок. Услышав об этом, господин Кальман невероятно перепугался. ”Полноте, маэстро, — успокоила его я, — по нынешним временам это обычная цена. Посудите сами, ваша супруга ходит в туалетах от Диора, так что вы вполне можете позволить себе такой пустяк”.

Под конец он больше всего радовался тому, что не тратит на себя слишком много денег”.

Я уже упоминала о скромности Имре. Свидетельства сестры Ирмгард говорят о том же. Да и друзья любили его за то, что он никогда не строил из себя знаменитость, держался просто и естественно.

Осенью 1953 года мы возвратились в Париж из путешествия по ФРГ. 30 октября Имре в сопровождении сестры Ирмгард явился к завтраку. Мы все уже сидели за столом.

– Что-то я неважно себя чувствую, – сказал он. – Пожалуй, лучше снова лечь.

Муж так и сделал. Сестра Ирмгард измерила ему давление: оно оказалось нормальным. Имре улыбнулся и немного погодя уснул. Этот день ничем не отличался от прочих... с той лишь разницей, что Имре уснул и не проснулся. Он и сам не заметил, как настал конец.

Австрия хоронила Кальмана со всей официальной пышностью. Имре покоится там, где ему и хотелось: на Центральном кладбище Вены, по соседству с Бетховеном, Брамсом, Моцартом, Зуппе, Штраусом и Миллёкером.

Вместе с детьми и Ирмгард Шпис я выехала на похороны. И там вновь встретилась с той женщиной, которую когда-то любил Имре Кальман: с Агнес Эстерхази. Графиня в ту пору жила в Мюнхене; она прислала в Париж цветы с надписью на ленте: ”До свиданья, Имрушка”. На поездку в Вену у нее не было средств, и наша семья пригласила ее в качестве гостьи. Графиня Эстерхази рыдала не только у могилы Имре, она плакала все время, не переставая. ”Скоро он и меня призовет к себе”, – обливаясь слезами, твердила она и в самом деле вскоре умерла, хотя была еще вовсе не старой.

Народу на кладбище собралось тысяч десять, не меньше. Была такая давка, что в какой-то момент мне показалось: живой отсюда не выбраться. Вдруг чьи-то руки крепко обхватили меня, помогли устоять на ногах – Чарли, сын! У меня было такое ощущение, будто это руки Имре по-прежнему оберегают каждый мой шаг.

Наша жизнь – моя в первую очередь – очень изменилась. Прежде всего я перебралась на другую квартиру, поменьше. Туда были вхожи лишь самые близкие друзья, в том числе Андре Мари, министр просвещения Франции. Мы познакомились много лет назад на одном благотворительном мероприятии, где я поставила рекорд по продаже книг. Господин Мари подошел к прилавку, насвистывая мелодию Кальмана.

В этом узком кругу однажды встретились два человека, антивоенные книги которых потрясли мир: Эрих Мария Ремарк, автор романа "На Западном фронте без перемен" (в ту пору они поженились с Полетт Годдар), и Ролан Доржелес, создатель "Деревянных крестов".

Я продолжала работу мужа, как он меня учил. Изо дня в день прочитывала корреспонденцию, диктовала письма, но делала это отнюдь не с такой сосредоточенностью, как он сам или как он от меня требовал. Затем поток корреспонденции начал убывать, и для меня наступил период чудовишной тоски.

В 1955 году, когда письма стали приходиться совсем редко, я поняла: чувство неудовлетворенности объясняется тем, что я ничего не делаю. Тогда же решила организовать в Баден-Бадене за свой счет и с благотворительной целью концерт из произведений Имре Кальмана. Подобрались и исполнители: супруги Шари Барабаш и Франц Кларвайн, оба камерные певцы. Это был мой первый опыт общения с широкой публикой.

По поручению баварского радио Альфред Шрётер вскоре составил программу "Биография Имре Кальмана в его мелодиях". На мою долю выпала редчайшая удача: я получила возможность сыграть самое себя.

И пошла-завертелась карусель. Посыпались письма с приглашениями пожаловать на ту или иную премьеру; красные пометки в моем календаре не оставляли пробелов. Я присутствовала всюду, где Шари и Францль исполняли произведения моего мужа. Меня пригласили в Западный Берлин, где проходили съемки фильма "Королева чардаша"; за эти несколько недель я дала множество интервью. Теперь уже мне в иной день приходилось диктовать по 70 – 80 писем на разных языках и нигде не удавалось пробыть дольше двух-трех недель: следовало очередное приглашение на какую-нибудь кальмановскую премьеру.

Чтобы выдержать столь напряженный темп жизни, без которого я теперь и не мыслю себе существования, я пользуюсь необычайно простым рецептом.

Каждый божий день проверяю свой вес: он не должен превышать пятидесяти килограммов. Занимаюсь верховой ездой, катаюсь на велосипеде, плаваю (правда, плавать я научилась лишь в последнее время), по утрам в течение двадцати минут проделываю гимнастические упражнения; всякий раз, как удастся урвать время, играю в гольф (пусть и плохо, но все

же...) и теннис (тоже плохо, но тем не менее...) и по несколько часов гуляю пешком. А когда человек вынужден так часто упаковывать и распаковывать чемоданы, как я, то о гибкости фигуры особенно заботиться не приходится.

Единственное существо, которому я после смерти мужа нанесла тяжкое оскорбление, была Мария Первич.

— Не думаю, чтобы у меня когда-нибудь был собственный дом, — откровенно призналась я ей. — Дети выросли, а я собираюсь поселиться в гостинице. Разумеется, вы можете жить со мной, но обильных пиршеств я больше не могу себе позволить. Не с точки зрения материальной, а ради сохранения кондиции.

Царственная кулинарка, задетая в своих лучших чувствах, последовала за мною в Цюрих, но задержалась всего на несколько недель. Теперь она живет в Риме, у Ивонки и ее мужа-художника. Все мои трое детей счастливы в браке.

Мужу хотелось, чтобы наша младшая дочь стала во главе издательской фирмы "Кальман". У Ивонки и впрямь проявились недюжинные деловые способности, однако она использует их лишь в интересах собственного супруга.

Чарли и Лили три года спустя после смерти отца написали оперетту, поначалу дав ей название "Веселое путешествие", а затем "перекрестили" ее в "Великого тенора". К сожалению, их партнерство длилось недолго: Лили вышла замуж, и в творческом союзе с Чарли ее заменил Вилли Вернер Гёттиг.

Премьера, состоявшаяся в Висбадене, подтвердила, что Чарли не только унаследовал музыкальный талант отца, но и способен проложить в искусстве собственную тропу.

Лили бралась даже писать романы; в последнее время она увлеклась живописью и достигла немалых успехов, хотя никогда этому не училась. Если дойдет дело до персональной выставки, то выяснится, до какой степени развит в ней природный дар.

Дети мои до конца своих дней, слава богу, обеспечены. В их владение перейдут американский трест, основанный Имре, и фамильное состояние. Что же касается моей личной собственности, то все целиком и полностью унаследует фонд памяти моего мужа. Фонд Кальмана был учрежден мною в 1964 году, центр его находится в Цюрихе. Пока жива, я являюсь его председателем; о преемнике я уже позаботилась. В задачу фонда входит присуждение стипендий одаренным музыкантам, невзирая на их расовую и националь-

ную принадлежность и религиозные убеждения.

Муж распорядился, чтобы после его смерти рукописи всех партитур поступили в вашингтонскую библиотеку Конгресса. Наказ этот был выполнен; я сделала исключение лишь для двух партитур, ставших собственностью венской Национальной библиотеки. Я самолично вручила их доктору Дриммелю, тогдашнему министру культуры Австрии, когда в венском Хофбурге открылся музей-кабинет Имре Кальмана. Там можно увидеть первую приобретенную им на собственные заработки мебель, какою была обставлена квартира на Пауланергассе в Вене. Эти предметы обстановки случайно отыскивались в одном из подвалов Бад-Ишля. Там же хранятся и посмертная маска Имре, и орден Почетного легиона вместе со всеми прочими знаками отличия, "скорбный лист", куда сестра Ирмгард заносила свои записи о ходе его последней болезни, кое-какие предметы обстановки из нашей парижской квартиры. Пианино — рабочий инструмент Имре, с помощью которого создавалась его последняя оперетта "Аризонская леди", — я отправила в Будапешт, крестнику Кальмана Иштвану Барне.

Через три с половиной месяца после смерти Имре пустилась вскачь аризонская леди: ведь это вовсе не дама, как можно бы подумать, а скаковая лошадь. Впрочем, главной героиней оперетты все же является дама — владелица лошади, эмигрировавшая из Будапешта. Премьера оперетты — с трансляцией по радио — состоялась в Берне, при участии Эстер Рети в роли владелицы ранчо и хозяйки скаковой лошади и Герберта Эрнста Гроха в роли бравого героя, покоровшего сердце сей дамы.

Словно сама судьба отпустила Имре времени ровно столько, сколько понадобилось для завершения его последнего труда. Как только он выпустил из руки карандаш, руку эту ухватила смерть.

На могиле моего мужа установлена массивная плита черного мрамора, где высечено лишь его имя — и ничего более. Над плитой скорбно склонилась беломраморная муза.

Десять дней в году — с 20 по 31 октября — я непременно провожу в Вене; 24 октября день рождения Имре, 30 октября он умер. В это время я ежедневно бываю на кладбище.

Сестра Ирмгард, которая в соответствии с моим и Имре желанием осталась при мне, однажды встретила у могилы

Имре какую-то женщину, совсем простую. С ней был внук, мальчик лет пятнадцати.

— Здесь покоится Имре Кальман, — пояснила женщина мальчику, а затем во всех подробностях рассказала, кто он такой был.

Свой рассказ она завершила словами, которые в память моего усопшего мужа мне бы хотелось начертать золотом:

— И зачем такие люди умирают?

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. <i>А. Кордунер</i>	5
Глава первая. 1928 ГОД. В ОДНОМ НЕБОЛЬШОМ КАФЕ	22
Глава вторая. 1882–1907. ГОДЫ ЮНОСТИ, БЕДНОСТИ; С БЕРЕГОВ БАЛАТОНА ДО БУДАПЕШТА	51
Глава третья. 1908–1914. ПЕРВЫЕ ОПЕРЕТТЫ	72
Глава четвертая. 1915–1927. МИРОВОЙ УСПЕХ	81
Глава пятая. 1928–1938. ВЕНА – СЛАВА И ЛЮБОВЬ	88
Глава шестая. 1938–1939. БЕГСТВО	126
Глава седьмая. 1939–1949. АМЕРИКА	132
Глава восьмая. 1949–1953. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ. СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ. УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА КАЛЬМАНА	163

Редактор О. САХАРОВА
Художник И. МАКАРОВА
Художественный редактор А. АЛТУНИН
Технический редактор В. ГУНИНА
Корректор Г. ИВАНОВА

ИБ № 4787

Сдано в набор 28.06.88. Подписано в печать 14.12.88.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман.
Печать офсет. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,50. Уч.-изд. л. 10,24.
Тираж 50000 экз. Заказ № 798. Цена 1 р. 20 к. Изд. № 5301.

Издательство "Радуга" В/О Совжспорткнига Государственного
комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119859, Москва, ГСП-3, Zubovskiy bulvar, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском
полиграфкомбинате В/О Совжспорткнига Государственного
комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.